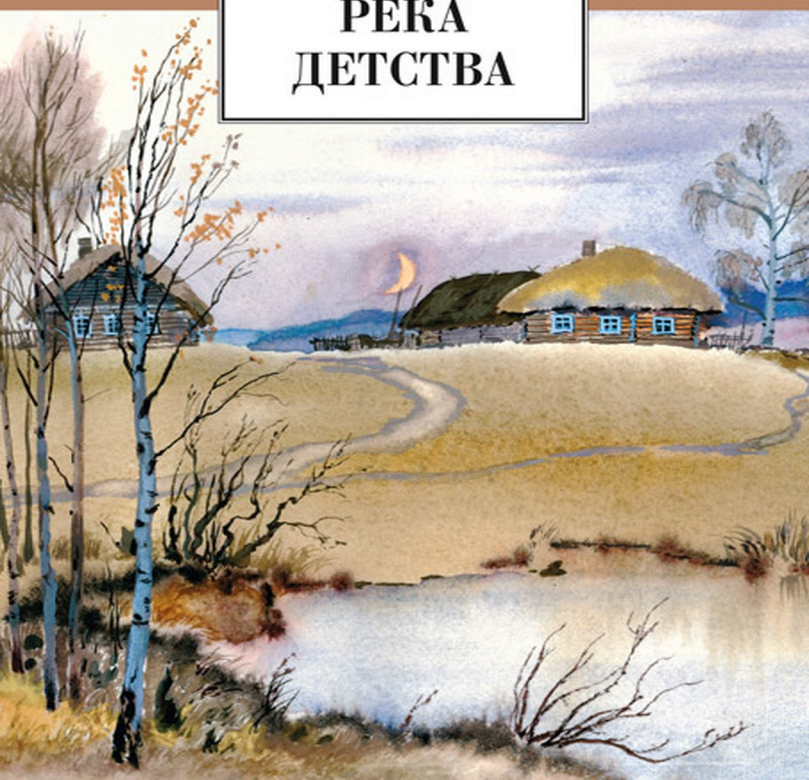
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Вадим Чернышёв

РЕКА ДЕТСТВА



Река детства (сборник)

Вадим Чернышев

Аннотация
Вадим Чернышёв. Река детства
Живые страницы
Тайны села Никольского
  Мы переезжаем на село
  Поющие ужи
  Сосун
  Громышка
  Шальное пианино
  История с чердаком
  Соловьиное гнездышко
  Муравьиное масло
На бобровой реке
  Река детства
  Давняя мечта
  Свет не без добрых людей
  Жизнь хороша и удивительна!
  Берег левый, берег правый
  Водяной пастушок
  Рыбаки и рыбки
  Зимородки
  Кабаны и черепахи

Бобры
Фигура браконьера
Молочные реки, сырные берега
Старый друг
Осы, шершни и щурки
Богатырские кони
До свидания, бобровая река!
Дианова гора
Дом
Диан и Ксантиппа
Тропинки
Озорник
Химик
Ночной переполох
Вышка в лесу
Куница
Звезды
Тянут гуси
Ганнибал
Рассказы о животных
Гога и Глаша
Дятел
Ласточка уходит на фронт
Волчик, Волченька
Минька
Осторожно! Миня!

Тролль
Вальда
Бродячие собаки
Муха
Угадай
Только радость доставлявший
2 – «У» – 2
Первое «У»
Второе «У»
Два «У»
Уход умки

Аннотация

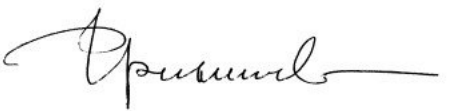
Сборник произведений Вадима Чернышёва посвящен тому, что сам писатель хорошо знает и любит, – природе, охоте, животным.

Рассказчик щедро делится с читателем всем, что ему близко и дорого. Это и яркие впечатления деревенского детства, и путешествие по издавна любимой речке Битюг, и охота в Заонежье.

Немалая часть книги посвящена собакам и выражает трогательную признательность этому животному-другу, бескорыстная привязанность которого делает нас добрее и человечнее.

Для среднего школьного возраста.





Вадим Чернышёв
Река детства

Предисловие
Е. СОКОЛОВОЙ



Рисунки на переплете
Е. МЕШКОВА

Живые страницы



Есть книги, особенно влияющие на жизнь человека. Еще в детстве мы знакомимся с первыми из них. Наверное, каждый вспомнит свой любимый сборник сказок, букварь… А для меня это еще и большая красивая книга с загадочным названием «Живые страницы» — сборник произведений русских классиков о природе. Помнится, именно эти два слова, выведенные крупными буквами на цветной обложке, привлекали меня больше всего. И именно они пришли на ум, когда у меня в руках оказалась тяжелая стопка печатных листов, с редко брошенными пометками, бусин-

ками мелкого почерка, — рукопись рассказов Вадима Чернышёва.

Не помню, какую еще книгу я так читала — неспешно, стараясь прочувствовать каждое слово. А между тем число перевернутых страниц до удивления стремительно росло. Казалось, что эту книгу я не читаю, а слушаю — как неведомую историю, рассказанную тихим и добрым голосом. Еще поймала себя на том, что, глубже погружаясь в эти «живые» страницы, отвлекалась ото всех посторонних мыслей, не проскальзывала по строкам, а невольно задерживалась на некоторых из них. И при этом — улыбалась. А как же иначе — так бережно и зримо перенесено на бумагу деревенское утро! Зачитаешься — и вдруг начинаешь улавливать запах нагретой травы и теплого молока. И шум городской как-то постепенно стихает, а вместо этого — будто лай собаки да соловьиные трели. Читаешь и не можешь оторваться…

Подобное ощущение приходило ко мне и прежде, при трепетном вхождении в мир классической русской литературы, соприкосновении с прозой И. Тургенева, С. Аксакова, И. Бунина… Безусловно, и здесь журчит этот же родник чистого русского слова, причем преемственность эта особенно

очевидна и в духовной близости В. Чернышёва к творчеству И. Соколова-Микитова, моего прадеда, ставшего для автора книги ближайшим другом и наставником.

У них действительно много общего. Язык простой и бесхитростный, родной и непривычный в то же время. Я, выросшая в городе, впервые вникала в слова доселе незнакомые, в описание деревенского быта, невиданных или просто безымянных для меня растений… С какой поразительной чуткостью автор смотрит на мир, замечая, конечно, куда больше нашего. Как радушный хозяин, водит читателя по лугам, вдоль берегов реки, указывает на скрытое от невнимательных глаз и будто рассказывает шепотом, чтоб не вспугнуть. Так хочется теперь, выйдя из города, увидеть все это воочию, убедиться, что после таких «уроков» я и сама разгляжу гораздо больше.

Это книга особенная. Не представляю, кого она не тронет, оставит равнодушным. Возможно ли это? Думаю, нет. Ведь так много в этих строках искренней любви! Так много, что хватит на каждого. Это именно живая книга. А потому не будем спешить. Есть что-то теплое в этих страницах — даже руки греет. Добром веет от них.

Елена Соколова



Тайны села Никольского



Мы переезжаем на село

— Ну-с, кавалер, с чем пожаловал?

Доктор Белов в белом халате и такой же шапочке сидел на белом стуле и легонько барабанил пальцами по белому столу. В его кабинете все было белым, пугающе-холодным и блестящим: стены и потолок, дверь, в которую мы с мамой вошли, шторы и ширма, отгораживающая кушетку, сверкающие никелем инструменты в белом поддоне, круглое зеркальце с дыркой посередине, закрепленное на лбу доктора. Только волосы на пальцах, барабанивших по столу, всклокоченные брови и усы были рыжими.

За меня ответила мама:

— Кашель, гланды, частые ангины и простуды, бронхиты…

Доктор оценивающе оглядел меня, словно прикидывал, где во мне может поместиться все то, что наговорила мама.

— Что ж, посмотрим.

Был день, но доктор включил лампу. Мои глаза полоснул яркий зайчик от зеркала на его голове. Доктор придавил мой высунутый язык плоской холодной ложкой.

— Скажи: «аааа»!

Я заорал что-то среднее между «а», «о» и «ы».

— Горластый, однако, — отметил доктор.

Он снова внимательно оглядел меня, соображая, должно быть, откуда во мне, при всех моих болячках, такая горластость, и помял холодными пальцами горло.

— М-да, миндалины увеличены. Надо попить кальций (ох уж этот солено-кислый кальций!), рыбий жир (сколько можно пичкать меня этой гадостью, пузырьки с которой я прячу так, чтобы их не нашла мама!), а пока сделаем продувание.

Он вставил мне в нос резиновую трубку.

— Что тебе больше нравится сказать: пароход или паровоз?

— Самолет! — прогундосил я с трубкой в носу.

— Подойдет, — согласился доктор. — Ну, говори!

Я сказал. В это самое время доктор фукнул большой резиновой грушей, в мою голову ворвался вихрь, ударил в уши и нос, голова загудела, я поперхнулся и закашлялся, на глазах выступили слезы.

— Эх-хе… — вздохнул доктор, причмокнув губами. — Городское дитя…

Он протянул маме выписанный рецепт.

— А вообще, я вот что скажу, мамаша. Лучше всего, что я выписал, просто деревня. Чистый воздух, парное молоко, свежая зелень…

По дороге домой мама молчала. Вероятно, сосредоточилась на своих мыслях. Я даже знал на каких. Дело в том, что разговор о переезде в деревню у нас в семье шел давно. Его заводил папа, не любивший город и к тому же не ладивший с городским начальством. В качестве самого основательного довода он приводил странную поговорку, дошедшую, наверное, из глубины древнеримских времен: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме».

Но маму, похоже, вполне устраивали вторые роли, даже не в Риме. В городе ей легче управляться с хозяйством, которое охватывало меня, папу, уборку квартиры и приготовление пищи. В деревне к этому добавлялось многое другое — такое, чего мама полностью не представляла. И вдруг эта рекомендация доктора Белова!

Вечером у родителей состоялся совет, на котором хорошенько взвешивались все «за» и «против». Мои миндалины и предрасположенность к ангине оказались весомее. Было принято решение перебираться в деревню. Ее место и название было уже определено: папу, ветери-

нарного врача, давно звали работать на конном заводе в селе Никольском.

Мы переехали туда в разгар весны. Орали на ветлах грачи, лед на пруду посинел и напитался водой, у берегов появились полой[1].

Для жилья нам отвели небольшой кирпичный особняк на краю обширного парка, за которым лежал пруд. В особняке, как нам сказали, до революции находилась людская и кухня господского дома. Богатый помещик-коннозаводчик Молоствов — были, оказывается, и такие, имевшие целый конный завод! — не любил, вероятно, кухонных запахов, и кухню построили в стороне. Сам господский дом зачем-то разрушили, от него осталась лишь громадная куча битого кирпича.

Затащенные в дом, расставленные вещи и тепло протопленных печей заглушили гулкое стылое эхо, разносившееся в пустом особняке, и мы зажили на новом месте.

С нашим житьем в бывшей барской кухне связано несколько загадочных историй, о которых, пожалуй, стоит рассказать.

---

[1] Примечания: 1

Полóи — вода, появившаяся между берегом и подтаявшим льдом водоема.

Поющие ужи

Пришло тепло — весна брала свое. Снег сошел, обнажилась выложенная кирпичом дорожка, густо заросшая с боков сиренью и жасмином, ведущая от нас к развалинам помещичьего дома, по которой когда-то бегали поварята, доставлявшие к столу приготовленные с пылу с жару кушанья. На пруду остался лишь островок обтаявшего льда, его током воды поднесло к водосливу мельничной плотины. Показалась молодая нежная травка, раскрылись одуванчики, на березе возле своего домика заливался, прихлопывая крылышками, черный блестящий, отливающий зеленым скворец. Знакомясь с окрестностями, я все дальше забирался в глубь парка.

Однажды, когда я на ходу постругивал палочку, вдруг увидел перед собой в траве черное, глянцевое на солнце, извивающееся тело. Змея! Я чуть не наступил на нее! На какое-то мгновение страх сковал меня. А потом я бросился бежать и с ужасом почувствовал, что ноги не слушаются. Они стали тяжелыми, будто на них навесили пудовые гири, я с усилием отдирал их от земли, тащил за собой, мне казалось, что я никак не могу убежать

от страшного места, что змея, как я это слышал от кого-то, может покатиться за мной колесом и вцепиться… Никогда не испытывал я такого страха! Мне приходилось видеть змей лишь на картинках да в бродячем зверинце. Там был толстый пятнистый ленивый питон, лежавший маслянистыми кольцами в прозрачном ящике. Он был за стеклом, совершенно не страшен, а тут…

— Может, это был уж? — спросила мама, когда я примчался домой. — Откуда бы здесь взяться гадюке? Было ли у него на голове желтое, вроде шапочки-наушницы?

Но где уж мне было отыскивать в траве, разглядывать змеиную голову?!

Мама оказалась права. Это был, конечно, уж. Выяснилось, что великое множество ужей жило в развалинах господского дома. Они грелись на битых кирпичах, переползали через них, утягивались в пустоты руин. Развалины находились неподалеку от нашего дома, не далее как в сотне метров. Я вскоре привык к соседству ужей и не боялся их. Вместе с мальчишками я даже поймал одного. Мы пустили его в пруд и смотрели, как ловко он поплыл, извиваясь, выставив торчком желтоухую головку.

Как-то под вечер мы пошли в нашу баню. Ма-

ма вымыла меня, помогла одеться, посадила в предбаннике отпыхнуть и вместе с тетей Таней, пожилой женщиной, приходившей из села помогать ей по хозяйству, отправилась мыться сама.

Я сидел, слегка одуревший после жаркой бани, и смотрел через приоткрытую дверь на улицу. В парке было сумеречно, еще более густые потемки стояли в предбаннике. За толстой плотной дверью бани тихонько погромыхивали шайками, плескалась вода. Вдруг я услышал свист. Негромкий и короткий нежный свист. Казалось, он исходил откуда-то снизу, из-под пола. Я прислушался. Спустя время свист повторился. Теперь уж точно он доносился из-под бани. Через несколько минут — снова. Что такое, кто там насвистывает?

Женщины оделись и вышли в предбанник.

— Это ужаки, — сказала тетя Таня как о самом обычном. — Они завсегда тут под баней жили. Здесь им тепло и сыро, самое то, что надо, вот они и поют.

Я не раз и потом заходил вечерами в предбанник нетопленой, пахнущей остывшим дымком бани и, затаившись, слушал. Случалось, что все оттуда же, из-под пола, доносился знакомый тихий свист. Что же все-таки это было?

Больше нигде и никогда я ничего подобного не слышал. Ставши взрослым, я пытался найти подтверждение теть-Таниных слов в книгах, однако ни в одной из них о пении ужей не было ни слова.

Но ведь я слышал, отчетливо слышал этот свист! И так запомнил, что и теперь могу воспроизвести этот звук.

Сосун

Сразу же после приезда мы купили корову: надо же было выполнять предписание доктора Белова относительно парного молока. Да и вообще, разве житье в деревне без коровы?

Папа сходил, осмотрел ее, не больна ли она, и остался доволен: корова была бодра и здорова. Хозяева сказали, что она еще молода, вторым телком, что и подтверждалось кольцами на ее рогах.

Корову привела тетя Таня, появившаяся у нас несколько раньше. Мы встретили их хлебом-солью. Шумно сопя, корова потянулась к посоленному ломтю и слизнула его длинным шершавым языком. После этого тетя Таня отвела ее в хлев, начертила мелом на притолоке двери крест и что-то пошептала на пороге, чтобы корова прижилась и не вздумала убегать к старым хозяевам. Но, похоже, корова и не помышляла об этом. Новоселье пришлось ей по душе. Она сразу сунулась в ясли и принялась хрумкать сеном. Поскольку это произошло в последний день марта, корове дали не самое оригинальное, но вполне оправданное имя — Марта.

У нас в доме появились молоко, сметана, творог, масло, простокваша. Все это давала толстобокая, белая в черных пятнах — или черная в белых? — с добрыми лиловатыми глазами и слюнявым клеенчатым носом, наша кормилица Марта. Теплое парное молоко с шипением оседало в доенке, пахнущая хорошо высушенными травами пена сохла на губах — могло ли с таким молоком сравниться магазинное, которое мама раньше покупала на литры в городе!

Когда в лугах зазеленела трава, Марту стали выпускать в стадо. Она возвращалась под вечер, покачивая круглыми боками, с полным выменем, едва умещавшимся между ног. Тетя Таня брала доенку, немножко воды, вазелин и шла доить. Из хлева доносились звонкие удары тугих струй молока, бивших в белую жесть ведра.

Но вот с коровой стали происходить какие-то странные вещи. Она не хотела отдавать молоко, переступала, задевая копытами подойник, хлестала тетю Таню хвостом.

— Это сглазу, — определила тетя Таня.

Марту осмотрел папа, но никаких признаков какой-либо болезни не нашел. А она продолжала упираться и задерживать распиравшее вымя молоко. Однако спустя час-другой вымя заметно

пустело, корова успокаивалась и позволяла выдоить оставшееся молоко. В чем дело, куда оно исчезало?

Тетя Таня привела из села старушку знахарку. Старушка принесла заговоренной воды и уголек. Она с уголька сбрызнула водой Марту, походила вокруг нее, что-то шепча. Меня тетя Таня выставила во двор. После снятия сглаза старушка ушла, пообещав, что все наладится. Но и на следующий день, и в другие дни Марта вела себя все так же, не отдавала удой.

К нам приехал погостить на новом месте дед. Ему в Никольском очень понравилось. Мы вместе гуляли по парку, ходили на пруд, заглядывали на мельницу, где шумели жернова, стоял мучной туман, а на мохнатых от мучной пыли балках гурчали сотни голубей.

Узнав о загадочном поведении коровы, дед решил понаблюдать за ней, когда она вернется из стада. Я навязался тоже подежурить в засаде.

— Только тихо! — предупредил дед. — Иначе вся наша затея насмарку!

Перед возвращением Марты мы забрались на потолок хлева, на сеновал, сгребли остатки сена и раздвинули потолочные доски.

Вернулась Марта, вошла с подойником те-

тя Таня. Мы наблюдали сверху. Корова опять принялась отхлестываться хвостом, топталась, постукивая копытами по полу. Тетя Таня ушла ни с чем. А Марта все беспокоилась, помыкивала, будто у нее отняли теленка. Когда сгустились сумерки, из-под досок щелястого пола выполз уж. Затаив дыхание, мы ждали, что будет дальше. Уж обвил ногу, поднялся к вымени и припал к сосцу. Корова успокоилась, поглядывала назад. А уж наливался молоком и толстел. Он раздулся, как пожарная кишка, в которую под напором дали воду. Тут дед спрыгнул вниз — испуганный уж отвалился, шмякнулся на пол, но, раздутый, быстро удрать не мог. Дед ударил его вилами — на стены хлева брызнуло молоко. Уж был добит на улице и повешен на жердь левады[2]. Из него еще покапывало смешанное с кровью молоко.

Все, кто был дома, высыпали на улицу.

— Я-то думала, кто сглазил, — подперев кулачком подбородок, покачивала головой тетя Таня. — А это, оказывается, сосун… Я слышала, говорили люди, что бывает такое, но ни разу не видывала… Надо же…

«Сглаз» у Марты прошел, больше она не каприз-

---

[2] Примечания: 2

Лева́да — огороженный участок перед хлевом для выгула скота.

ничала и, как всегда, отдавала молоко.

Много лет спустя мне в книжках попадались упоминания о подобных случаях, но авторы всегда ставили их под сомнение и считали это досужим вымыслом. По-видимому, один из таких «вымышленных» ужей и повадился навещать нашу Марту.

Громышка

Если в жилом деревенском доме нет кошки, он становится домом для мышей. Появились они и у нас в кладовке. И тетя Таня принесла взятого у кого-то на селе котенка — совсем еще маленького, в голубовато-серой взъерошенной шерстке, с голубенькими младенчески наивными глазками и розовым носиком.

— Надоть было, как приехали, прежде всего пустить в дом кошку, — упрекнула нас тетя Таня. — Потому как она в доме хозяйка. А во двор — петуха, он должон там генеральствовать.

Но где нам, горожанам, было сразу взять на новоселье петуха и кошку?

— Ну и ну, гроза мышей! — усмехнулся пришедший с работы папа, когда котенок, топыря плохо слушающиеся лапки, боком ткнулся в его ногу и стал перебираться через башмак.

— Так и назовем! — подхватила мама. — «Гроза мышей»! Сокращенно — «Громышка»!



Громышка исправно пила парное Мартино молоко и быстро прибавляла в росте. Скоро она стала пушистой, ловкой, игручей кошечкой с быстрыми проказливыми глазами. Она без устали гоняла по полу пустые катушки от ниток и охотилась за всем, что двигалось: за ногами

людей, за веником и половой тряпкой, за бившимися об оконное стекло мухами…

Подрастающая Громышка шкодила и вредила куда больше, чем мыши, — на ее счету уже были две разбитые тарелки и горшок с молоком, в узком горле которого отстаивались сливки. Больше всего она полюбила творог. Не дожидаясь, когда ее угостят, она прыгала на подвешенный марлевый мешочек, в котором отцеживался от сыворотки, стекал творог, разрывала его и либо выпускала содержимое на пол, либо ела прямо там, повиснув на мешке.

Наконец она поймала свою первую мышь. Хвастаясь добычей, Громышка показывала ее всем по очереди, отпускала и снова ловила, играла с нею. Видеть такое было не очень приятно, но ведь и ругать за это было нельзя. И мама выставила ее вместе с мышью за дверь.

Шаловливая, ловкая и подвижная, Громышка вскоре извела в доме всех мышей. И в сенях, и в чулане теперь никто продукты не портил. Тогда Громышка принялась охотиться в прилегающей к дому округе, ее добычей стали лесные мыши и полевки. А однажды она принесла красивую птичку с оранжево-огненными перышками в хвосте — горихвостку. Пару этих доверчивых

птичек мы часто видели на дорожках нашего палисадника. Папа надел перчатки, чтобы кошка не оцарапала руки, и задал ей жесткую трепку. И кошка поняла: этих трогать нельзя. Она даже отворачивалась от базаривших в сирени воробьев. Но зато как-то вечером притащила другой трофей. В густых сумерках мы не сразу разглядели, что она волочет с улицы: то ли обрывок веревки, то ли кусок резиновой трубки. Громышка заволокла добычу через порог в кухню, и мы увидели, что это — уж. Задушенный уж. Пришлось снова преподать ей урок: и на таких охотиться тоже нельзя!

Тогда Громышка принесла через несколько дней такое, чего никто из нас ни до этого, ни после никогда не держал в руках, — летучую мышь!

— Боже мой! — разглядев в темноте добычу, воскликнула мама. — Вы только посмотрите, что она притащила! Страшилище какое!

Слава богу, летучая мышь была жива, лишь слегка помята. Так, благодаря кошке, мы познакомились с этим таинственным сумеречным созданием с кожистыми крыльями, тельцем в рыжеватой шерстке, с цепкими лапками и ушастой приплюснутой мордочкой с блестящими черными глазками. Папа подкинул ее — и мышь,

расправив крылья, беззвучно исчезла во тьме.

А Громышку лишь пожурили, наказывать не стали, полагая, что все равно ей вряд ли удастся еще раз заполучить такую добычу. Но как она уловчилась схватить на лету эту мышь? Вероятно, дело обстояло так. Перед домом у нас был разбит цветник, где мы порой засиживались, сумерничая, до темноты. Вечером раскрывались душистые табаки, сильнее пахли резеда и левкои. На запах цветов слеталась мошкара, привлекавшая в свою очередь насекомоядных летучих мышей. Они беззвучно, как тени, метались в воздухе, ныряли к цветам, будто стригли их своими быстрыми крыльями. Здесь-то, по-видимому, и ухитрилась сцапать низко проносившуюся мышь затаившаяся на клумбе кошка.

Громышка была очень самостоятельна, не боялась собак и подолгу гуляла «сама по себе»: ее можно было встретить в самых отдаленных углах парка. Она, как собачонка, ходила с мамой в сельскую лавку, к папе на работу. Даже зимой, когда мы ходили в гости к знакомым, жившим на хуторе за прудом, она сопровождала нас и дожидалась там на крыльце. Мы шли гуськом через пруд по узкой тропке, лед от мороза гулко лопался, звук широко раскатывался к берегам.

Кошка останавливалась, прислушивалась к гулу под ногами, нервно подергивала хвостом и снова бежала за нами. В лунном призрачном свете ее голубовато-дымчатая шерстка становилась почти незаметной, видна была лишь скользившая по снегу тень.

Громышка также оказалась непосредственной участницей двух странных происшествий, случившихся в нашем доме, бывшей барской кухне.

Шальное пианино

Самые большие хлопоты при переезде вызвало наше старое громоздкое пианино. Четверо дюжих грузчиков на веревках через плечо протащили его в гостиную и поставили в простенок. Место выбиралось так, чтобы было не слишком жарко и не холодно, иначе инструмент мог рассохнуться или «простудиться».

На пианино играла мама. Когда мне хотелось послушать музыку, я уговаривал ее поиграть, тащил из кухни. Вытирая о фартук руки, она шла в гостиную, садилась на вертящуюся табуретку, открывала крышку. Больше всего я любил романс Глинки «Жаворонок». Наверное, потому, что совсем рядом можно было услышать настоящих жаворонков, стоило лишь пересечь парк, выйти из его тенистой прохлады в жаркое поле, над которым в зыбком мареве лились нескончаемые трели невидимых птичек. Прижавшись ухом к прохладной лакированной стенке пианино, я слушал, как где-то в его глубине рождалась знакомая мелодия:

Между небом и землей

Песня раздается,
Неисходною струей
Громче, громче льется.
Не видать певца полей,
Где поет так громко
Над подруженькой своей
Жаворонок звонкий…

Чаще всего маме было некогда. Тогда я сам открывал пианино и одним пальцем барабанил «Чижика-пыжика» или «Собачий вальс». Ничего другого я подбирать не умел. Закрыть тяжелую скользкую крышку было куда сложнее: я с трудом доставал до нее. Однажды она сорвалась и прихлопнула мне пальцы. Хорошего в этом, как вы понимаете, было мало. Поэтому пианино частенько оставалось открытым, за что я получал от мамы нахлобучку, потому что слоновая кость клавиш на солнце желтела, клавиатура пылилась.

Но вот с некоторых пор повышенный интерес к пианино стала проявлять Громышка. Как только мама садилась играть, тут же появлялась кошка. У нее было своеобразное отношение к музыке: она ее нюхала. Громышка старательно принюхивалась к щелям у нижней съемной стенки, к

отверстиям педалей. Если инструмент оставался открытым, она вспрыгивала на клавиатуру и, поджимая лапки, прохаживалась по клавишам, наигрывая, быть может, какую-то свою «кошачью польку». Кошка сразу выдавала меня, не сумевшего закрыть пианино, и нам обоим влетало: кошку сталкивали на пол, а я получал очередной нагоняй.

Однажды ночью нас разбудили звуки пианино.

— Ты опять не закрыл крышку? — принялась отчитывать меня мама. — А этой дурехе не спится, музицирует по ночам…

Мама прошаркала шлепанцами в гостиную и в сердцах закрыла крышку.

Спустя несколько ночей пианино заиграло снова.

— Ну сколько раз тебе можно говорить одно и то же?! — рассердилась мама. — Опять ночь изломана, вставать приходится.

— Да, но Громышка спит у меня в ногах, — пробормотал спросонья папа. — Странно…

— Что тут странного? Значит, наигралась и улеглась. Не может же оно играть само!

Прошло какое-то количество дней, а вернее, ночей, и нас опять разбудило пианино.

— Когда же это, в конце концов, кончится?! — возмутилась мама. — Ты что, нарочно, что ли, это делаешь? Безобразие просто!

— Да не играл я! Даже не подходил к нему!

Теперь встал папа.

— Ты знаешь, — вернулся он из гостиной, — какие-то удивительные вещи происходят в нашем доме. Крышка закрыта… Да и кошка спит у меня… А пианино бренчит… Чудеса!

— Как… закрыта? — села на кровати мама. — Что же, оно само по себе, что ли, играет?!

— Не знаю, в чем дело, но это именно так!

— Зажги свет! Мне даже как-то страшно, — взволновалась мама. — Как дальше жить в таком доме?

— Не волнуйся, надо завтра хорошенько осмотреть его, — успокоил папа. — Не бывает же, в самом деле, чудес на свете!

Мы долго не могли уснуть. Потом меня все-таки сморил сон. А родители, похоже, так и не уснули.

Папа пришел с работы пораньше и сразу принялся за осмотр пианино. Мы с мамой тоже подключились. Но больше всех, пожалуй, суматошилась Громышка. Она путалась под ногами и старалась всех опередить. Папа открыл верхнюю крышку пианино. Стало видно часть массив-

ной металлической рамы с натянутыми на нее струнами. Это я видел и раньше: рама как рама, струны как струны. Ничего особенного.

Вынули съемную стенку внизу. Открылась нижняя часть рамы. Те же струны. Все, как всегда. В чем же дело?

— Ну, ты-то что лезешь? До чего же любопытная! Не мешай! — отпихнул папа Громышку.

Он стал шерудить линейкой за рамой, и тут из дальнего угла прыснули две мыши. Круглые рыжеватые мышки с короткими хвостиками. Полевки — определил папа. Громышка метнулась за обеими — и не поймала ни одной.

В углу за рамой обнаружилось круглое, похожее на птичье гнездо, свитое из редких травинок, обрывков бумаги и материи. В него были вплетены мелкие клочки красивого ярко-зеленого сукна. Таким сукном были обиты деревянные молоточки, ударявшие по струнам при нажатии на клавиши. И загадка пианино раскрылась: утеплявшие свое гнездо полевки обгрызали молоточки, оттягивали их, отпускали — и они касались струн.

В задней стенке пианино оказалась небольшая щель. Видно, грузчики где-то неосторожно задели за косяк двери, и стенка отошла. Через эту щель

и проникли в сухое, теплое и безопасное нутро инструмента забежавшие из парка мыши. Правда, здесь временами было шумно. Но кто знает, может быть, среди мышей тоже встречаются любители музыки?

Папа заделал щель, и пианино больше никогда само по себе не играло.

История с чердаком

Самым интересным местом в доме был чердак. Чего там только не было! Ржавая керосинка с закопченным слюдяным окошечком, худые валенки, кипа пожелтевших старых газет, несколько дореволюционных журналов «красивой жизни» «Дворцы и усадьбы», дырявый таз, ломаные табуретки и стулья… Я находил все новые и новые вещи. Но попасть туда можно было только с мамой, когда она развешивала там стираное белье. В остальное время вход на чердак плотно закрывала тяжелая западня[3], справиться с которой мне было не под силу. Впрочем, когда сохло белье на веревках, западня оставалась открытой: на сквозняке оно быстрее высыхало. Забираться одному мне на чердак запрещалось, но разве можно утерпеть, когда он открыт?!

На чердаке царил таинственный полумрак. Из полукруглого слухового окна тянуло запахами парка, листвы стоявшей неподалеку плакучей березы. От сохнущего белья пахло морозным ветерком. Пригибаясь под простынями, стараясь не

---

[3] Примечания: 3

Западня́ — горизонтальная дверь на чердак.

касаться мохнатых от пыли балок, я обследовал чердак, пока мама не улавливала мои шаги над головой. Она выходила в сени, откуда слышнее было шебуршание на чердаке, и кричала:

— Ты опять туда забрался?! Сейчас же слезай, иначе закрою тебя там! Будешь сидеть до вечера!

Меня это, в общем, устраивало, но лучше все-таки было слезть.

Чердак манил и Громышку. Где-то там тоже водились мыши. Кошка не раз спускалась по лестнице с мышкой в зубах. По-видимому, на чердаке охотились и другие кошки, жившие в доме до нас, — в западне был даже вырезан уголок, чтобы кошки могли попасть туда при закрытой крышке.

Но вот на чердаке стали происходить какие-то странные вещи. Громышка стала забираться в свой лаз с большой опаской и оглядкой, что-то высматривала на чердаке прежде, чем в вырезе западни исчезал ее пушистый хвост. Спустя некоторое время наверху слышалась какая-то беготня, пофыркивание кошки, что-то падало на мягкий чердачный пол… Из лаза выскакивала Громышка и, кое-как пересчитав ступеньки, шмякалась на пол. Она была страшно возбуждена и взволнована! Шерсть на ней стояла дыбом, хвост

топорщился, как ламповый ёрш. Выгнув спину, она вышагивала «на цыпочках» боком и таращилась наверх, в черную дыру кошачьего лаза.

— Батюшки! Эким ты кандибобером ходишь! — удивлялась мама. — А расфуфырилась-то! Что там, наверху, происходит?

Она поднималась по лестнице, приподнимала крышку, заглядывала на чердак. Никого. Тишина.

— М-да… — неопределенное протянул папа, узнав о необычном поведении Громышки. — Может, какая-нибудь птица залетела в слуховое окно? Ворона, например. Или сыч — он тут как-то в сумерки на крыше возле трубы насвистывал. Во всяком случае, за кошкой надо бы понаблюдать…

Загадка чердака открылась после воробьиной ночи. Весь день перед этим томила духота, небо клубилось свинцово-черными тучами, в нем что-то созревало и никак не могло созреть. В обреченном ожидании застыли деревья и пруд, отразивший полные скрытого гнева тучи.

Все разрешилось ночью. Мы проснулись от звона стекла с размаху закрывшейся форточки. Яростные порывы ветра сотрясали окна, беспрестанно полыхали молнии. Гроза приближалась,

будто подкатывалась на громыхучих колесах. Бешеные шквалы ветра гнули деревья, трепали кусты, гнали пыль. Железная крыша грохотала, словно по ней бегали в кованых сапогах. При всплесках молний вывернутая листва деревьев казалась белой, видны были мечущиеся, ослепленные вспышками птицы.

Как нужен был дождь! Хороший, сильный дождь, умеряющий буйство ночной сухой бури. Его редкие крупные капли, как пули, защелкали было в окна, но тут же иссякли.

Он пролился лишь перед рассветом. Свист ветра сменился ровным шумом мощного ливня. Буря притихла, стали слышны журчание и бульканье воды, плеск потока из трубы, переполнившего бочку.

Утро встало тихое, усталое от пережитого разгула непогоды. На дорожке парка, усыпанной сбитыми сучьями и зелеными ветками, я нашел мертвого, разбившегося сослепу воробья. Воробьиная ночь…

У нас бурей завернуло железную крышу, протек потолок и угол дома. Папа пошел на строй-двор за кровельщиком.

В полдень пришел кровельщик Дронов, невысокий человек с серыми закрученными усами,

в армейской фуражке, выгоревшей на солнце и потемневшей от пота. Ростом он был невелик, зато огромными были его инструменты: из ящика торчали громадные ножницы и такой же большой, головастый деревянный молоток.

Я упросил маму разрешить мне залезть на чердак вместе с кровельщиком — «под его ответственность», как она сказала. На чердаке стало непривычно светло от завернувшейся крыши.

— Вот, малый, учись, — разложил Дронов свои инструменты, — наше дело возвышенное, мы завсегда наверху работаем. Что в доме главное? Крыша! Если крыша худая, дому конец. Любой дом сгниет.

— Молоток-то какой большой!

— Этот? Молоток — он железный. А это киянка. Деревянный.

Кровельщик надел на правую руку огромные ножницы и стал похож на краба с тяжелой боевой клешней. Гримасничая от усилий, что-то подрезал, взял киянку и принялся бить ею, распрямлять гнутые жестяные листы. Поднялся неимоверный грохот. И тут в дальнем темном углу чердака что-то зашевелилось. Небольшой меховой зверек, тонкий и гибкий, как пружина, быстро пробежал по пыльной балке, перескочил к слуховому окну, прыгнул с крыши на березу, меховым ручейком стек по ее наклонному стволу на землю и исчез в кустах.

— От чудеса! — воскликнул Дронов. — Ты видал, малый?

— А кто это? Крыса, что ли?

— Какая крыса? Куница. Уж я-то знаю, потому как охотник!

Забыв про киянку, он сидел в дыре крыши и удивленно покачивал головой.

— Ну и ну! Сколько за ней по лесу исходишь, пока найдешь, а тут, гляди, сама в дом пришла! Ну дела!

Так вот с кем, оказывается, конфликтовала наша Громышка, забираясь на чердак!

Чтобы успокоиться, наверное, Дронов достал кисет, свернул «козью ножку» и закурил. Ветерок

растянул над крышей едкий дымок махорки.

Под вечер кровельщик закончил ремонт крыши. Заодно он вставил в слуховое окно застекленную раму — от непрошеных квартирантов.

Соловьиное гнездышко

Деревья опушились молодой листвой, набухли цветом кисти черемухи, и парк загремел соловьями. Один из них пел совсем рядом, за нашим цветником.

— Какое чудо! — восторгалась мама. — Серенькая, невзрачная птичка — и такой голосище! Зря я упиралась: ей-богу, из-за одного этого стоило переехать в деревню!

Соловьи неистовствовали не только ночами, но и днем. Когда только они успевали отдыхать от своего пения?!

— Знатоки уверяют, что в песне наиболее искусных соловьев насчитывается до сорока колен, и все они имеют свои названия… А что мы знаем? — с укором себе сказал папа. — Надо бы пригласить Пал Палыча: он когда-то держал соловьев…

Агроном Пал Палыч жил в своем доме на селе, далеко от парка, пения там было почти не слышно. Он с радостью принял приглашение прийти послушать концерт. Все вместе мы сумерничали на скамейке в цветнике.

— Ах, шельма, что же он вытворяет! — то и

дело восклицал Пал Палыч. — Каким «раскатом» рассыпался! А это вот «кукушкин перелет»… «Клыканье» — слышите?.. А какую «лешеву дудку» выдал!.. «Гусачок»… Опять заклыкал… А теперь — «пульканье»…

Пал Палыч называл различные коленца соловьиной песни, а они все следовали одно за другим, то повторяясь, то звуча впервые, и казалось, что не будет им конца, не хватит названий у бывшего охотника соловьиного пения, агронома Пал Палыча…

— Что ж, вас можно только поздравить: такого певца заимели по соседству! — стал прощаться Пал Палыч. — Вы разрешите, я еще как-нибудь к вам загляну? Уж больно хорош ваш сосед. Карузо! Они ведь все разные, молодые у стариков учатся…

Мне захотелось поближе поглядеть на певца. Я осторожно стал подходить на его голос, подкрался и увидел наконец небольшую буроватосерую птичку. Так вот он какой, соловей! Он сидел на ветке сирени и продолжал петь. Его тонкий клювик был широко раскрыт, раздувшееся горлышко клокотало от звонких щелчков. Казалось, на меня он не обращал никакого внимания. Я сделал к нему еще один шаг — и выпугнул вдруг другую

птичку. Точно такую же, как та, что пела на ветке. Певец тут же смолк. В том месте, откуда вылетела соловьиха, я увидел гнездо. Маленькое, свитое из травинок, волос и шерсти. Я не заметил бы его, если бы не вспорхнувшая птичка. Оно располагалось в кустике над самой землей, мне сверху видны были лежавшие в нем четыре зеленовато-глинистых яичка. Я уже знал, что притрагиваться к ним ни в коем случае нельзя, иначе соловьиха может отказаться от них, бросит высиживать. А вдруг она не вернется, напуганная моим внезапным появлением? Но что теперь можно было сделать? Оставалось только поскорее уйти…

Осторожно пятясь, стараясь не делать резких движений, я потихоньку выбрался из зарослей. Пение вскоре возобновилось. А вернулась ли в гнездо самочка?



Пару дней спустя я решил проведать гнездышко. То и дело останавливаясь, я подобрался к нему как только мог тихо. Оно было занято. Соловьиха продолжала сидеть, лишь настороженно посматривала на меня большим черным глазом.

Продолжал насвистывать и щелкать, рассыпать свои трели и соловей. Подходить ближе было рискованно. Мне хотелось, чтобы птички поверили мне, перестали меня опасаться. Застыв на месте, не шевелясь, я стоял так долго, что у меня заныли ноги. И так же бесшумно ушел.

Я стал наведываться к соловьиному гнездышку каждый день. И каждый раз подходил к нему чуточку ближе, надолго замирая рядом. Это было как дежурство. В парке иногда встречались бродячие коты, сюда могла заглянуть наша Громышка. Правда, после взбучки за погубленную горихвостку она вроде бы не заглядывалась на птичек, но кто знает, как бы она поступила, наткнувшись на такую доступную добычу? Гнездо ведь находилось так близко от земли! Пока я стоял у гнезда «на часах», ему ничто не грозило. Да и соловьи уже привыкли ко мне так, что однажды я даже погладил самочку по спинке, — она лишь глубже втянула голову в плечи и вжалась в гнездо. Соловей же продолжал заливаться как ни в чем не бывало. Вот когда я наслушался его песен! На целый год!

— Куда ты исчезаешь после завтрака? Ты убредаешь так далеко, что я не могу докричаться тебя! — упрекнула меня мама. — Играй возле

дома!

Я, конечно, отлично слышал, когда она кликала меня, но не мог же я ей отозваться, находясь у гнезда! «Дежурство» стало моей тайной, в которую я не хотел посвящать никого. Даже маму. Казалось, это могло как-то навредить соловьям.

В одно июньское утро соловьихи на месте не оказалось. На земле, в пробившейся травке, валялись тонкие, невесомые обломки яичной скорлупы. Значит, вывелись птенцы! Да, они лежали на донышке, плотно прижавшись, сплетясь окомелками[4] крылышек и тонкими шейками. Какими же они были беспомощно-жалкими! И страшными: головастые, голые, в синеватой кожице, с выпученными огромными темными глазами, прикрытыми полупрозрачной пленкой. Но как они помещались в своей скорлупе? Птенчики были куда больше знакомых мне яичек. Пожалуй, никому на свете не удалось бы сейчас затолкать только что вылупившихся птенцов в их прежнее тесное жилище.

Прилетел кто-то из родителей, сел на край гнезда. Птенцы замотали головками, открыли безобразно широкие, розовато светившиеся

---

[4] Примечания: 4

Окоме́лки — неоперившиеся крылышки.

глотки. Родитель склонился, положил что-то, как в воронку, в одну из глоток и улетел. Вскоре появился другой, и все повторилось.

Соловей, занятый кормлением, пел все реже и понемногу. А потом и вовсе замолчал.

Птенцы быстро росли, покрывались серыми перышками. Они уже не вызывали жалостливо-брезгливого чувства. Большеглазые птенчики бойко выглядывали из гнезда, радостно встречали прилетавших с кормом родителей, вылезали на край.

А потом гнездо, с которым было связано столько событий в жизни соловьиной семейки, опустело. Знакомые птицы, к которым я так привык, в него не возвращались. Я хотел было взять гнездышко на память, но передумал: а вдруг оно понадобится соловьям на будущую весну? Ведь теперь их вместо пары стало целых шесть! И, если понадобится, чинить старое-то, наверное, полегче, чем строить новое…

Муравьиное масло

Кроме работы на конном заводе у папы были участки в окрестных деревнях. Он часто ездил туда верхом, в тарантасе или на дрожках. Если он ехал в экипаже, мне иногда удавалось упросить его взять меня. Он даже давал мне поправить лошадью. О, это было замечательно! Я держал настоящие, хорошо пахнущие кожей, ременные вожжи. Самая настоящая, большая лошадь слушалась меня. Достаточно было чуть пришлепнуть вожжой по ее крупу, и она тут же пускалась рысью, легко несла черный тарантас по мягкой грунтовой дороге. Путь лежал сосновым бором, мимо толстых узластых сосен, мимо полян, пестревших цветущими травами.

— Давай нарвем маме букетик, — предлагал папа.

Я соскакивал с подножки тарантаса, бежал на поляну, окунался в ее сухой пахучий зной. Щекоча голые коленки и руки, из-под моих сандалий сыпались дождем кузнечики, с треском поднимались, косо летели над землей и падали в жаркую траву крупные кобылки с красивыми голубыми и красноватыми крыльями. Среди цветов жундели

мухи и пчелы. Я стряхивал тяжелых, полусонных шмелей, рвал разомлевшие от зноя липкие гвоздички-смолянки, ромашки и колокольчики, пахнущие медом кашки, сиреневатые скабиозы-короставники… Мама любила цветы, в нашем палисаднике каких только не было цветов, но лесной букетик отличался особой прелестью и нисколько не проигрывал пышным садовым георгинам и гладиолусам.

В бору было много муравейников. В них кипела жизнь неисчислимого множества глянцевито блестевших на солнце больших рыжих лесных муравьев. Ни один из них не сидел на месте — управляемые какой-то невидимой таинственной силой, все они были в движении: одни тащили и перебирали на куче веточки, другие ворочали белые, похожие на рис, муравьиные яйца, третьи исчезали в недрах кучи, чтобы подменить тех, что беспрестанно лезли из других ходов… Тысячи муравьев сновали по расходившимся от кучи тропкам, бежали один за другим и встречь друг другу, сталкивались, ощупывали друг дружку усиками и продолжали деловито семенить по утоптанным дорожкам. В кучу можно было сунуть былинку — возмущенные муравьи тут же облепляли ее и опрыскивали «спиртом», прият-

но-кисловатым на вкус. Однако задерживаться возле муравейника было рискованно: муравьи лезли на сандалии, забирались в носки и чкалили ноги так, будто к коже прикладывали только что потушенную спичку.

Однажды я заметил лежавший на муравейнике комок чего-то кремовато-белого, похожего на сливочное масло. К нему прилипли мелкие соринки, он был испещрен следами муравьиных ножек. Что это такое? Муравьиная куча была большой, до ее вершины, где лежал комок, было не дотянуться. Я спросил у отца: что бы это могло быть? Он подъехал поближе, посмотрел, не слезая с тарантаса.

— Муравьиное масло, — сказал папа, нисколько не удивившись.

И я решил, что ничего особенного в этом нет. Масло так масло. Мало ли чего я тогда не знал.

Больше я никогда с таким явлением не сталкивался и подзабыл этот случай.

Прошло много лет. Мне в жизни повезло: еще студентом я познакомился и на долгие годы подружился с замечательным человеком и превосходным русским писателем Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. В долгой, изобиловавшей крутыми поворотами и потря-

сениями жизни ему довелось быть моряком и фронтовым санитаром на Первой мировой войне, летать на первых русских тяжелых бомбардировщиках «Илья Муромец», участвовать во многих арктических экспедициях, путешествовать и охотиться в тундре и на Памире, в Сибири и на Кавказе, в Беловежской Пуще и на Каспии… Всего не перечислить!

Иван Сергеевич великолепно знал и очень любил русскую природу. Вспоминая эпизоды своих путешествий и охотничьих странствий, он частенько брал после таких бесед диктофон — потеряв под старость зрение, писать он уже не мог — и надиктовывал рассказ для очередной своей книги. Мы говорили о встречах со зверями и птицами, об их повадках. Как-то упомянули муравьиных львов, личинки которых сидят на дне вырытых ямок с сыпучими краями, а пробегавшие мимо муравьи осыпаются в ямку и становятся жертвами хищных личинок.

— А не случалось ли вам находить муравьиное масло? — спросил Иван Сергеевич.

И я сразу вспомнил то, что когда-то видел в детстве.

— Удивительно, что мы с вами сталкивались с этим при очень похожих обстоятельствах, — ска-

зал Иван Сергеевич, выслушав меня. — Я тоже видел такое масло при поездке с моим отцом. Только у нас тогда оказалась при себе кружка, в которую мы его положили. Однако оно вскоре растаяло, превратясь в бесцветную, припахивающую муравьиным спиртом жидкость. Как по-вашему, что все-таки это могло быть? Ничего подобного я больше никогда не находил.

После этого разговора Иван Сергеевич надиктовал рассказ о муравьях и муравьином масле.

А я принялся листать книги, чтобы найти объяснение. Прочитал все что мог о муравьях, но нигде ничего не нашел. Может быть, кто-нибудь знает, что же все-таки представляет собой эта штука, муравьиное масло?



На бобровой реке



Река детства



В детстве я жил неподалеку от реки под названием Битюг. Недалеко, но и не очень близко — десять километров. Каждый день не находишься. Но что делать, ближе речек не было.

Отец возвращался весной из поездок по району, рассказывал:

— На Битюге лед посинел и вздулся, по краям лужи, вот-вот тронется…

Лесники приезжали с дальних кордонов.

— Широко разлился Битюг, высоко вода стоит…

Рыбаки приносили свежую рыбу.

— Откуда рыбка? — спрашивала мать, любуясь

блестящей чешуей.

— Известно, с Битюга, — отвечали краснощекие обветренные рыбаки. — Откуда же ей еще быть?

На Битюге, говорили, водились бобры.

На старицах[5] и ближних к Битюгу болотах гнездились журавли, была уйма диких уток.

Битюг, на Битюге, по Битюгу… То и дело упоминалась в разговорах наша речка, не очень далекая и не очень доступная.

Собравшись компанией мальчишек, мы иногда ходили на Битюг купаться. Дорога шла сосновым бором. После его смолистого сухого зноя было особенно приятно окунуться в прозрачную свежую воду. Мы загорали и паслись в ежевичнике, густо опутавшем берег. А Битюг тёк да тёк себе мимо мыска, где валялись мы на горячем белом песке.

И никто из нас не знал, откуда берется речка и куда она течет дальше.

---

[5] Примечания: 5

Ста́рица — старое, заросшее русло рек, затопляемое в половодье.

Давняя мечта

Прошло много лет. За это время я побывал на многих больших и малых реках, на нескольких морях и даже на Великом, или Тихом, океане. Но Битюг по-прежнему манил меня. Будто это была не маленькая речка в Средней России, а далекая сказочная река Амазонка. Такими же таинственными, как в детстве, оставались для меня незнакомые битюжские берега, все так же хотелось узнать, откуда и куда он течет. Да если бы я и побывал на диковинной Амазонке, где плещутся крокодилы, а в тенистых дебрях кричат попугаи, вряд ли оставила бы меня мечта проплыть по Битюгу.

Слов нет, Амазонка замечательная река. Интересно бы побывать на ней!

Но река эта — южноамериканская. Чужих рек много. На всех не побываешь.

А Битюг — это ведь речка моего детства. Одна для меня, единственная.

А раз она моя — как же не знать ее?

И мне стало стыдно, что я до сих пор не исполнил свою давнюю мечту.

Свет не без добрых людей

Я упаковал легкую раскладную лодочку, взял свою собаку лайку, по имени Пыж, и отправился в Воронеж. Оттуда до Битюга ходит местный поезд.

Но пока я выгружался со своим багажом, этот поезд ушел. Холмик зеленых выгоревших рюкзаков сиротливо торчал на сером асфальте. Наверху сидел Пыж: оттуда шире открывалась привокзальная площадь нового для него города.

— Плохо, дружище! — сказал я Пыжу. — Следующий поезд только вечером…

Он лег. Ждать так ждать. Не в первый раз. Мы вместе бывали на Севере, летали на самолете, плавали на пароходе, тряслись на попутных грузовиках… Пыж мне верил.

Я выбрал рюкзак помягче, чтобы погоревать на нем до вечера, но тут подкатило такси. На панели в машине виднелась табличка с фамилией шофера: «Торопыгин». Такая фамилия меня приободрила. Очень уж хотелось поскорее попасть на речку!

— Я бы повез, — сразу согласился шофер товарищ Торопыгин. — Да бензину маловато. Вон

Олег Сергеевич стоит, наш главный диспетчер, может, он что сделает?

Олег Сергеевич в больших очках был похож на доктора наук. Он внимательно посмотрел на меня, на объемистые рюкзаки и на терпеливого Пыжа.

— Лайка? — строго спросил главный диспетчер.

— Лайка, — подтвердил я. — Западносибирская.

— Лайка — это серьезно, — уважительно сказал главный диспетчер. — Давайте попробуем. Надо только заехать к «королеве».

Я покосился на шофера. Но товарищ Торопыгин был невозмутим. Видно, не впервой ему приходилось ехать к этой самой «королеве». И я поскорее забрался в машину: к «королеве» так к «королеве». Лишь бы был бензин!

«Королева» носила красный берет с хвостиком на макушке. Олег Сергеевич просунулся в узкое окошечко, поговорил с ней, и «королева бензоколонки» отпустила нам тридцать литров бензина. Теперь хоть на край света!

Через два часа мы действительно оказались на краю: старое, поросшее травой шоссе обрывалось высоко над рекой. Внизу в воде торчали сваи

разобранного моста. Новый мост и новое шоссе виднелись в полукилометре выше по течению.

Вот он, старый знакомец Битюг!

Светило солнышко. Синела река. Покачивались зеленые ножи камыша. И далеко виднелась с обрыва пойма.

— Эх, хорошо! — вышел из машины шофер Торопыгин. При виде такого раздолья ему захотелось поразмяться. Он помахал руками и присел, хрустнув коленками. — Эх, хорошо! — повторил таксист. — Все торопимся, спешим куда-то, а тут такая красотища!

Он посмотрел на часы, нырнул в машину и дал газ. Он торопился взять обратных пассажиров.

Спасибо вам, шофер товарищ Торопыгин, главный диспетчер Олег Сергеевич и «королева» в красном берете! С вашей помощью мы оказались на Битюге раньше того поезда, на который опоздали.

Жизнь хороша и удивительна!

Весло лежит на борту. Течение само тихо несет легкую лодочку. Только сиди да по сторонам поглядывай. И запоминай. А как все запомнишь? Чтобы не забыть, надо, пожалуй, записывать.

Я достал тетрадку, зачеркнул нелепые слова «общая тетрадь» и вывел старательно: «Бортовой журнал. Начат…» И стал думать, какой бы фразой покрасивее открыть мои записи. Но красивая фраза не приходила. Нелегко написать первую фразу на абсолютно чистом листе бумаги. Вспоминалось прочитанное в какой-то старой книге: «Соленый ветер наполнил поднятые паруса, и гордый бриг вышел в море навстречу бурям…» Про море — там легче. А здесь хоть и красиво, но гордости никакой: камыши, лягушки… «Соленый ветер тронул камыши, и…» Нет, не то. И почему он «соленый» здесь, на Битюге? Чепуха какая-то…

И вдруг я увидел явственно, как на кухонном столе стоит банка с солью, приготовленная в дорогу. Я ее забыл… А плавание без соли — это совсем не то, что с солью. Несоленую уху, например, в рот не возьмешь.

Первая фраза в бортовом журнале получилась

такой: «Растяпа! Я забыл соль…»

Ход дальнейших записей прервал странный предмет, плывший передо мной по течению. Он был кругл и походил на небольшую плавающую мину. Как у настоящей рогатой мины, из предмета торчал вбок какой-то шпенек. На макушке этой «мины» стояла трясогузка и покачивала хвостиком.

Я отложил бортжурнал, схватил весло и кинулся догонять загадочный шар. Впрочем, никакой загадки, как выяснилось очень скоро, тут не было: по реке плыл обыкновенный арбуз с привядшим поросячьим хвостиком. Я толкнул его веслом — арбуз охотно окунулся и закувыркался, показывая выеденную середину и нацарапанную на темно-зеленой шкуре надпись: «Ел Боря Полторак». В царившей под лучами полуденного солнца тишине я услышал, как хрустела красная и сочная арбузная мякоть на зубах счастливца Бори Полторака, и мне захотелось арбуза. Ах, арбузика бы сейчас! Арбуза и соли — вот чего не хватало мне для дальнейшего плавания по Битюгу…

Прошло время, и ракитник на берегу расступился. Показались крыши дальних домов. Я привязал лодочку за коряжину и отправился на

поиски соли и арбузов.

Известно, что любая дорога не минует магазина. Проселок, который мне подвернулся, тоже привел к магазину. Он назывался «Товары повседневного спроса». На крылечке дремала загорелая бабуся. Перед ней стояло ведро, полное крупных пунцовых помидоров.

— Продаете? — неуверенно спросил я.

Продавать помидоры в селе, утопавшем в садах и огородах, было то же, что торговать ромашками на лугу.

— Три рубля ведро, — встрепенулась бабка.

— Мне этого много, продайте полведра.

Бабка подумала.

— Не, — сказала она. — Ведро.

— Ну, за те же деньги, только полведра.

— Не, — отрезала она, хорошенько подумав снова. — Ведро. Куда я полведра дену?

От густо свисавших с потолка липучек магазин имел новогодний вид. Соли и арбузов в нем не оказалось.

— Соль и кавунцы в хозмаге у Михалыча, — сказала продавщица, осторожно выглядывая между липучками, чтобы не приклеиться. — Только его нету. В школу вызвали. Павлик двойку получил.

Я отметил, что сегодня лишь третье сентября.

Когда же этот Павлик умудрился схлопотать «пару»? Вот скоростник!

— Он такой. Его двойки раньше его родились, — выдала Павликову тайну продавщица.

Бабка на крыльце сняла с ведра три помидора и протянула их мне.

— Возьми, коль приглянулись.

Я полез за кошельком.

— Не, не, — замахала руками бабка и разровняла помидоры в ведре, чтобы оно снова стало полным. — Я ведром продаю!

Я все-таки заглянул в хозяйственный магазин. Продавца Михалыча все еще не было. Эх, Павлик, Павлик…

— Соль у него заперта, а кавунцы еще не оприходованы, — сказала жена продавца и сдвинула на телеге солому.

Под соломой лежали арбузы. Темные и некрупные, похожие на пушечные ядра.

— Хорошие кавунцы, — щелкнула по арбузу хозяйка. — Сорт «победитель».

— Проси, — шепнул я Пыжу.

Пыж посмотрел на хозяйку и вежливо буркнул.

— Хорошая у вас собачка… — вздохнула жена продавца и вынула двух «победителей».

Я опять полез за кошельком.

— Не, — отказалась от денег хозяйка. — Не могу я торговать. Не оприходованы потому что. Только привезли, не разгрузили даже. Каб мешок, а то всего два…

А соли мне дал пастух. Обычного пастушеского кнута у него не было.

— Нужон он мне! — улыбнулся пастух. — Да я за соль любую корову «куплю»!

Пастух достал из висевшей на боку торбочки горсть соли и показал коровам. Они шумно засопели и, облизываясь, пошли за пастухом.

Светило солнце. Тихо плыла, плавясь в его лучах, река. Шуршали сухими крыльями стрекозы. Я ел сочный прохладный арбуз. Вот жизнь наступила!

Пыж тоже чвакал арбузом. Он заглатывал куски прямо с семечками. А я их сплевывал за борт. Они медленно погружались, поворачиваясь в светлой воде. Если бы они проросли, вся река была бы в арбузах!

На арбузные семечки набрасывались селявки. Они подталкивали их носами, пытались обсосать край.

Я опять вспомнил про журнал и сделал наконец «красивую» запись: «Есть и соль, и арбузы. Жизнь

хороша и удивительна!»

Берег левый, берег правый

Водная дорога то становится широкой, как автострада, то сужается, как глухой проселок. Берега сдвигаются и заглядывают в лодку. Буйными травами, пышными цветами украсил их Битюг. Высоченные, в руку толщиной дудки перевиты хмелем и вьюнком. Издалека видна в зеленой осоке вишнево-красная плакун-трава, яркая и жизнерадостная, вовсе не похожая на кислую плаксу. Свесились, любуются своим отражением сиреневые астры. Стойко цветет, несмотря на сентябрь, растение с суровым названием «окопник». Словно соревнуясь между собой, берега выставляют напоказ свою красоту. Я включился в эту игру, разделил лист журнала пополам: «берег левый» и «берег правый». Где больше?

Скабиоза — это на правом!

Татарник — тоже.

А на левом — мята. И за нею — горец!

Справа — вероника!

Незабудки — на левом…



Но вот налево высится нечто удивительное: длиннющая палка, облепленная тесно сидящими желтыми цветами. Я даже причалил, чтобы разглядеть получше. Оказалось, что эти «палки» — там и сям — торчали по всему берегу. Здесь был выгон. Несколько черных коров бродили между желтыми палоками. Многие из этих странных растений были куда выше моего роста — метра два с половиной! По самой земле — округлые мохнатые листья, как уши. А из разложенных по земле ушей — то, что я увидел из лодки, — толстый хлыст с как бы вплетенными в него желтыми цветами. Я узнал гиганта и вспомнил его название. Вполне естественно, что при таких размерах их было два: по листьям он назывался «медвежье ухо», а по цветам — «царский скипетр». Было и третье — «коровяк». Теперь, глядя на прогуливающихся между скипетрами коров, я понял, откуда появилось и это название.

Получилось у меня в журнале что-то вроде гербария. Но не из растений, а из их названий. Жаль, маловато оказалось у меня сведений, чтобы узнать все цветы в «лицо»...

А Пыж коллекционирует запахи. Близкие берега пахнут притаившимися зверями и птицами. Вот дохнуло чем-то незнакомым. Может, это че-

репаха, пригревшаяся на солнце?

Тоненькая, обрывающаяся, будто пунктирная, ниточка тянется от маленькой птички камышевки, перепархивающей в тростнике. Иногда Пыж поскуливает и нетерпеливо топчется. Наверное, почуял толстый запах кабана, который сидит в тине и смотрит сквозь камыши, как проплывает лодочка с остроухой лайкой на носу.

После светлых лугов речка прячется в лесу. Тенистые липы, ольхи и клены нависают над водой. Мы плывем под их сводом, как в туннеле. Какой, должно быть, стоит тут дух, когда цветут липы!

А сейчас здесь пахнет дубом — крепким, ядреным запахом ранней осени. На дубах созрели желуди. Они падают в воду, булькнув увесисто и коротко, как пули. Дубы метят в нашу лодочку.

Понг! — стукаются желуди о тугую брезентовую палубу.

Пульк! — выговаривают они, врезаясь в воду.

«Р-р-р-р!» — выговаривает Пыж, когда желудь угодит в него.

Водяной пастушок

Порой кто-то окрикивает нас из камышей, вопрошая требовательно и строго: кто?! Откуда?!

В просветы зарослей видно, как быстро бежит рыжевато-черная птица — водяной пастушок. Кого пасет он в камышовых джунглях? Не клопов ли водомеров?

Водомеры целыми стадами отстаиваются где-нибудь в затишке. Увидят надвигающийся нос лодки и разбегаются по воде врассыпную. У водомера на ногах широкие лопаточки-водоступы. Бежит он в них по воде, как по полу, не проваливается. Бежит толчками, вымеряя речку четвертями. Раз толчок — четверть. Два — еще четверть. Перемерил Битюг и встал под бережком, чтобы течением не сносило.

Водяной пастушок тоже не проваливается на воде. Росту невеликого, с цыпленка, а ноги будто от цапли приставлены — голенастые и длиннопалые. В самый раз такими ногами по водорослям бегать. Вот пастушок и бегает. Как посуху. Добежит до края камышей, а дальше — стоп! — чистая вода. Омуток, ни единой травки. Надо лететь. А летун он совсем неважный. Не столько летит,

сколько бежит, крыльями лишь помогает, да с таким плеском и шлепом, будто кто в ладоши хлопает. Одолел чистую воду, сунулся в камыши и исчез, как иголка в стогу сена. Не ищите теперь пастушка. Вряд ли на глаза покажется. Большой мастер в траве прятаться. Теперь до новой встречи с другим пастушком.

Рыбаки и рыбки

Какая речка обходится без рыбаков! Есть они и на Битюге.

Я замечаю торчащие из кустов длинные удилища и перестаю грести, чтобы не пугать рыбу.

— Ну как — ловится?

Рыбак откликнется не сразу. Ему надо очнуться от сладких мыслей, привязанных к висящему под водой крючку.

— Рыбка плавает по дну… Нам поймать хотя б одну…

Все ясно: неудачник этот рыбак.

Другой отвечает:

— Удить-то удим, только есть навряд ли будем…

Тоже понятно. Из той же компании невезучих рыбаков.

Третий улыбается, подмигивает с берега:

— Кошке да себе немножко.

— Это сколько же — «немножко»?

— Да вон целое лукошко.

Ну а это уже немало. Оттого и весел этот балагур.

Четвертый машет рукой, вздыхает:

— Без лодки какая рыбалка… Вот если б на лодке…

Этот рыбак из разряда мечтателей-нытиков. Ему дай лодку — он все равно будет вздыхать: «Что тут за рыбалка? Битюг — речка маленькая… Рыба тут мелкая… Вот если б на Дону…»

Окажись он на широком Дону, мечты и там понесут его дальше: «Вот если б на море… Или на Атлантическом океане — вот где рыба ловится!»

Попадались рыбаки и на лодках. Больше на резиновых пухлых надувашках. В одном месте так густо заполонили речку — еле протиснулся между ними. Сидят рыбаки, каждый в своей резиновой «тарелке», и на поплавки соседей поглядывают: как там у них?

Встретился старый рыбак на лодке-душегубке, выдолбленной целиком из ствола толстой осины. Сидит на корме, вёселком потихоньку отгребается. За ним тянется «дорожка» — длинная леска с латунной рыбкой-блесной на конце. На щуку такая снасть. Поздоровался.

— Ж-ждраштвуй, — отвечает.

Спросил у него, далеко ли до города Боброва.

— Жавтра догребешь, ешли пошташаешша.

— Что-то я у тебя, дед, ничего не пойму, — посетовал я. — Жамкаешь что-то, все «ж» да «ш»…

Жужжишь, как шершень.

— Видишь? — показал он стиснутые вставные зубы. — Жубами дорожку держу. Жубами шражу почувштвуешь, когда шшука возьмет.

— Ох, дед! Хватанет большущая щука и вырвет дорожку вместе с зубами! — предостерег я рыбака.

— Нич-чо! — засмеялся рыбак, не выпуская из зубов жилки. — Они у меня железные. Ишшо поштавлю. Железа в штране хватает!

Зимородки

Но самые усердные рыбаки на Битюге — это зимородки. Часами сидит зимородок над рекой и смотрит в воду. Ждет. Терпеливо, как кошка, караулящая мышь у норки. Увидит рыбку под собой и камнем врезается в воду. И почти всегда вылетает с уловом. Редко когда промахнется.

Для такой рыбалки нужна прозрачная вода. И поэтому живут зимородки только на чистых речках.

Ростом зимородок поменьше воробья, но разодет как франт: голова и крылья зеленые, спина голубая, манишка красноватая, а щеки желтые с черной каемочкой. Далеко его видно, когда он быстро летит над самой водой, будто яркий изумрудный фонарик.

Я знал, что зимородки роют в берегах глубокие печурки и делают в них гнезда из мягких рыбьих косточек. И что пахнет из такой печурки рыбой.

Нам не раз попадались печурки в обрывистых берегах. Некоторые я даже обнюхал, но запаха рыбы не уловил. Пахло из них землей и немножко курятником.

Однажды я насторожил жерлицу — снасть на

щуку, похожую на рогатку. Одним концом леска на рогатку намотана, а на другом — живая рыбка для приманки щуки, «живец».

Ночью наживку никто не тронул. А в полдень я обнаружил жерлицу размотанной. Ага, кто-то есть!

Но крючок оказался пуст. И леска стянута как-то странно — не в глубину, куда щука обычно пытается уйти, а к берегу. Я снова поставил жерлицу. И опять кто-то снял живца. Кто же ворует наживку? Я решил подкараулить воришку и спрятался в кустах. Не прошло и часа, как загадка жерлицы раскрылась. Зимородок!



Он сел на палку, к которой крепилась жерлица. Замер, наблюдая за рыбкой. И как только живец подплыл — кинулся в воду.

Пришлось мне снять жерлицу. Поймаешь еще ненароком зимородка!

Кабаны и черепахи

Говорят, панцирь черепахи выдерживает автомобиль. Не знаю, не проверял. Была черепаха — не было автомобиля. Был автомобиль — не оказывалось под рукой черепахи. А если бы и оказалась, все равно не следовало бы, наверное, подкладывать под колеса бедную черепаху.

Но сам я вставал на панцирь умершей и высохшей черепахи. И даже попрыгал на нем.

Хоть бы что! Панцирь этот я когда-то нашел на болоте.

В Битюге тоже живут болотные черепахи. Я причалил под вечер к берегу и пошел посмотреть, годится ли он для ночевки. Когда я вернулся к лодке, она чуть-чуть отошла на ослабшем шнуре. Низкое солнце просвечивало под лодкой воду, и в этой солнечной воде плавала вверх ногами черепаха. Небольшая черепашка, величиной с пепельницу. Как водолаз-аквалангист, которого спустили осмотреть подводную часть судна, черепашка изучала мягкое резиновое днище. Возможно, оно представлялось ей животом невиданного плавучего чудища. Черепашка тыкалась в днище головой и скребла по резине корявыми

узластыми лапами. Короткий тонкий хвостик смешно отвисал в воде, как шнурок от ботинка. Черепашка заметила меня и спряталась под берег.

Но ее любопытство все-таки оказалось сильнее страха. Я опустил в воду весло. Черепашка подумала немного и выбралась поглядеть на блестящую алюминиевую лопасть. После ужина я пустил поплавать на веревочке пустой котелок, и она снова не удержалась, чтобы не посмотреть, что это такое.

А в лесах по берегам Битюга живут кабаны. Они проминают в камышах тропы к реке, жуют сочные корни рогоза и распахивают лужки в поисках жучков.

Какая связь между кабанами и черепахами?

Я считал, что никакой. Кабаны — кабанами, а черепахи — черепахами.

Но вот мы с Пыжом забрели в лес и наткнулись на болото. Жаркое лето высушило его. Илистое болотное дно было истыкано кабаньими копытами. В болоте жили черепахи. Мы нашли несколько панцирей, но все они были пусты и разломаны. Что случилось с черепахами? Кто сокрушил черепашью броню, которая, говорят, выдерживает автомобиль?

Оказалось, кабаны. Всеядные дикие свиньи ухитрились расколоть, как орехи, панцири и полакомиться беспомощными обсохшими черепахами. Вот вам и несокрушимая броня!

Не знаю, как в отношении автомобиля, а против мощных клыков кабанов-секачей черепашьи панцири не устояли.

Бобры

Бобры — исконные битюжские жители. Даже город, стоящий на Битюге, называется Бобров, и на гербе этого города изображен бобр.

Мало кто видел бобров на воле. Зверь ночной и очень осторожный. Но следы их ночного хозяйничанья трудно не заметить. Подгрызенные и поваленные деревья, вороха широких, как от стамески, стружек, пни, похожие на плохо заточенные карандаши, промятые в камышах тропинки, хатки, в которые можно попасть, лишь поднырнув в воде, — все это работа бобров.

И пляжики, обтоптанные мокрыми перепончатыми лапами, тоже бобриные: тут они выходят на берег. Каждый такой пляжик оглажен чем-то мокрым, будто бобр вытаскивал бредень. Я не сразу взял в толк: что же все-таки выволакивают бобры из реки? А потом догадался: хвост! Широкий и плоский, как лопата, голый хвост, который охотники называют ошибом. Выберется бобр на пляжик, вытащит тяжелый мясистый хвост-ошиб, отряхнется по-собачьи и отправится знакомой тропкой по своим ночным делам.

Ночью меня разбудил какой-то звук. Полежал,

прислушался. Тихо. Может, показалось? Но вижу, что и Пыж насторожился. Сидит у застегнутого выхода из палатки.

Вдруг — бу-бух! Будто валун сбросили с обрыва в реку. Пыж даже подпрыгнул.

И опять тишина.

Спустя время снова: бу-бух! Еще валун. И пошло, удар за ударом: бу-бух! Бу-бух! Бу-бух!

Признаться, оторопь меня взяла. Ночь, безлюдье и глушь, а Битюг такими бултыхами выворачивается. Вылез из палатки, а Пыжа оставил, чтобы не спугнул тех, кто булыжниками кидается. Луна. Реденькие облака, как перышки, ровно раструшены. Зябко. Речка плотным туманом залита. Красота! Красиво, но ничего не видно. Кто-то в тумане шебуршится осторожно. Тихо поплескивает. Бухнуло! Еще раз! А кто — не видать. Только туман покачивается, светится под луной. Но тут запертый в палатке Пыж обиженно тявкнул — и все стихло.

А в один из вечеров я припозднился у костра. Поправлял, пошевеливал палочкой дрова, смотрел в огонь. Слышу: шуршит осока на том берегу. Чьи-то шаги. Соступил в воду. Всплеснул… Поплыл… Два уса разошлись по воде. И вдруг — как бухнет! Так же, как тогда. На валун похо-

же. Круги побежали по омуту. Закачалась в них, раскололась отраженная луна. Не успела вода успокоиться, опять как шибанет!

Бобр. Недаром у него хвост так называется — ошиб.

Фигура браконьера

Я полюбил Битюг сразу, с первых дней плавания. Полюбил его зеленый мир, тихие заводи с белыми кувшинками, его чистую воду, птиц и рыбешек, быстрых, как солнечные зайчики.

Мне захотелось защитить эту маленькую речку. Но от кого? Кто мог ей угрожать?

Прежде всего, конечно, браконьер. Самый страшный враг природы. Фигура браконьера представлялась мне омерзительной. Фигура скалила желтые ненасытные зубы и бряцала ржавыми петлями-ловушками. С браконьерского плеча свисала мокрая сеть, полная краснопёрок. Карманы топырились от шашек тола. Я поглядывал, нет ли в округе такого браконьера, чтобы схватиться с ним и выдворить с Битюга.

Но браконьера не было. Никто не перегораживал речку сетями, не глушил рыбу толом и не палил из ружья в птиц и зверей. Желание защитить Битюг не находило себе дела и беспомощно обвисало, как парус в полный штиль.

И вот появился браконьер. Он сидел в старом, латаном ботничке и натягивал перемёт — десятка два крючков на длинном, через всю реку, шнуре.

Я подгреб к ботнику. Браконьер разогнулся и оказался тщедушным конопатеньким дедушкой.

— Доброго вам здоровьица, дальний путешественник, — ласково сказал дедушка-браконьер и глянул на меня голубыми, как цветочки льна, глазками. Он снял картуз. Обнажилась лысина, покрытая крупными веснушками, похожая на божью коровку. — Благодать-то какая! — продолжал он, окидывая взглядом речку и расплываясь в улыбке.

— Разве перемёт не запрещен? — Я решил не поддаваться на браконьерскую ласку и быть строгим.

— А не знай, милок, — ответил он, все так же улыбаясь и не обращая внимания на мою строгость. — Всю жизнь, как родился туточки, ловлю. Поставлю да и пойду. У коровы прибрать или картохи копать, к примеру… А вечером приду, глядишь, и будет десяток окушков нам со старухой на ушицу. Или плотвушка попадет, тоже годится…

Нет, не браконьер этот дедушка, решил я. Человек, который родился на речке и прожил на ней жизнь, имеет право ловить в ней рыбу. Даже перемётом, который работает на рыбака, пока он косит сено или копает картошку. Никак не мог я

найти злостного хапугу браконьера…

Но не все благополучно было на Битюге. Все-таки речка нуждалась в защите. Едва мы тронулись в путь, мне попалась бутылка. Сразу вспомнились старые романтические истории с кораблекрушениями, бутылочная почта… Я даже заглянул в бутылку — нет ли в ней записки?

В остальные заглядывать уже не хотелось. Одни бутылки плыли по течению, другие торчали, застряв в водорослях. За каждой из них виделся взмах человеческой руки, бездумно метнувшей бутылку в чистую реку. Нет, одной руке не под силу было накидать столько бутылок. Тут требовалась компания бутылкометателей…

Я попытался подсчитать бутылки, чтобы предъявить этот счет первому встречному метателю. Но никто не кидал на моих глазах бутылок. Предъявить счет было некому.

Ночью мне приснился сон. Всех бутылкометателей затолкали в огромную бутылку. Они барахтались в ней и скользили по стеклу, как хлебные вредители жуки-кузьки, которых мы собирали на полях в школьные годы.

«Не надо нас в воду! — вопили бутылкометатели. — Мы больше не будем!»

…В конце пути фигура браконьера представля-

лась мне уже иной. Она была неопределенных форм, рыхлой и расплывчатой. Она все время меняла свои очертания, и воевать с ней было трудно, удары как бы приходились в пустоту. Фигура была составной. Она складывалась из тех рыбаков, которые густо сидели в резиновых лодках и раскидали вокруг крючков больше чем в двадцати перемётах, и из тех неизвестных, которые скатили в речку вонючую бочку из-под солярки. В нее входили лесорубы, которые бензопилой «Дружба» валили зеленые деревья на берегу неподалеку от села Верхняя Тойда. В ней можно было разглядеть того стрелка из города Боброва, что пальнул забавы ради из двустволки в налетевшую цаплю-чепуру и, к счастью, промахнулся. Беззаботные бутылкометатели дополняли безобразную фигуру браконьера.

Я устыдился, когда вспомнил, что однажды выплеснул в реку сажные помои из котелка. Значит, и я прилепил к бесформенной браконьерской фигуре свой кусочек, тоже навредил немножко Битюгу — маленькой речке, которую так легко испортить. Которая вырастила тенистые леса на берегах, а в лугах — пышные травы. Которая кормит, укрывает и радует многих птиц, рыб и зверей.

И людей, конечно, тоже.

Молочные реки, сырные берега

Рано утром из лесу донеслась музыка. И глухой дробный топот множества ног.

«То ли еще будет, ой-ей-ей!» — предупреждала певица.

Показались коровы. Они бежали на луг, возле которого я встал на ночлег. Это было похоже на утренний кросс горожан «трусцой от старости». Лидер кросса, крупная пятнистая корова с кудрявой челкой между голубых рогов, прибежала на выгон, протрубила о своем первенстве и принялась жадно, с хрустом драть траву.

Послышались жестяное бренчание и скрип. На опушку выехал на разболтанном дамском велосипеде пастух. За ним в траве змеился черный, мокрый от росы кнут. Велосипедные колеса отчетливо выписывали число 88. Пастух на ходу сошел с седла, подтолкнул велосипед, и тот сам ткнулся в куст, уперся в него рогами. Кнут замер, как пригревшийся уж.

— Здорово ночевали! — сказал пастух.

На нем была выгоревшая пляжная кепочка. Таинственный лунный свет стоял под ее синим прозрачным козырьком.

— Подсаживайтесь завтракать! — пригласил я пастуха.

— Это можно! — охотно согласился пастух. — А чего мне теперь делать? Хоть весь день завтракай. Сейчас только музыку им поставлю. — Он щелкнул клавишей магнитофона.



Полились звуки танго. — Под эту пасутся хорошо. А под ту лучше бегут.

За едой пастух снял кепочку. Без синего козырька лицо его оказалось рыжим, с красным облупившимся от солнца носом.

Звучала музыка. Дружно хрупали и сопели коровы. Велосипед поблескивал из куста остатками никеля. Мы ели манную кашу, помидоры и частик в томате.

— Приходи вечером на тырло[6]! — позвал пастух, расставаясь. — Гостем будешь!

Зорями над Битюгом гудят моторы. Идет электрическая дойка коров. Мне давно хотелось посмотреть, как это делается. И я под вечер отправился в коровий лагерь. Большое красное солнце катилось по краю земли. Битюг тихо струил красную воду меж черными камышами. У ограды лагеря желтела автоцистерна с надписью: «Молоко». Под навесом урчала доильная установка с детсадовским названием «Елочка». Коровы стояли в металлических станках и косились на длинный гибкий шланг. Он вздрагивал от бежавшего в цистерну молока. Облако теплого молочного запаха висело над тырлом. В нем бес-

---

[6] Примечания: 6

Ты́рло — участок пастбища у водоема, предназначенный для отдыха скота.

шумно метался, ловил мошкару козодой.

Пастух сидел в вагончике за дощатым столом и разминал молодую картошку с простоквашей.

— Теперь ты со мной повечеряй! — подвинулся на скамье пастух.

Над столом висел вырезанный из газеты портрет доярки, обнимающей большую пятнистую корову.

— Это та обжора с голубыми рогами? — узнал я корову.

— Она! — с гордостью сказала доярка. — Наша Клепочка. Клеопатра. Любит покушать. Зато и молока дает за двоих. Недаром говорится: «У коровы молоко на языке».

Меня угостили парным молоком. Оно пахло лугом. Пышная пена щекотала губы и шептала из кружки, уговаривая выпить еще.

Шофер молоковоза удил с мостков рыбу.

— Оккупанты лохматые! — ворчал шофер, насаживая на крючок свежего червяка. — Такого классного выползка слопали…

— Чего бурчишь? — спросил пастух в темноту. — А, Валерк?

— Та раки! — с досадой сказал шофер. — Не успеешь закинуть, тут же набрасываются!

— У тырла завсегда раков много, — рассуди-

тельно подтвердил пастух. — Тут им харчишки перепадают, ополоски бидонов, комбикорм…

— Валера! — крикнула доярка. — Молоко пить будешь?

— Оно мне снится, это молоко! — отозвался шофер. — Все молоко да молоко. Кабы квасу!..

Долго гудела «Елочка». Потом шум оборвался, все стихло. Стало слышно, как дышат коровы и пробует голос лягушка на Битюге.

— Всё, Валера! — сказали в тишине. — Можешь ехать.

Цистерна, высвечивая пыльную дорогу, покатила в город на молокозавод. Будто пробился и побежал от Битюга молочный ручеек, чтобы слиться на заводе с ручейками от других коровьих лагерей и превратиться в кефир, ряженку и сметану, в пласты желтого масла и большие, как автомобильные скаты, круги сыра.

Старый друг

Что испытывает человек, оказавшись в краях своего детства? Прежде всего, радость от того, что видишь знакомые места. Радость от того, что ждешь — вот-вот встретится старый друг! Но бывает еще почему-то немножко грустно, словно в светлом осеннем лесу, тихо роняющем листья. Может быть, потому, что того счастья, которое было когда-то, уже не вернуть…

У меня ёкнуло сердце: неужели это та самая песчаная коса, где валялись мы под солнцем? Так же, как тогда, была она покрыта осыпавшимися следами босых ног. Значит, кто-то приходил сюда купаться в жаркий день и бегал по горячему песку, делал такие же запруды у воды, запуская в них пойманных в пригоршню глазастых мальков… Вот я и приплыл в свое детство…

С радостью и печалью в сердце я отшагал те десять километров, что отделяли село от Битюга. Там жил мой давний друг Коля. Он работал главным агрономом сада и, конечно, был уже не Коля, а Николай Аркадьевич.

В совхоз-сад я пришел под вечер. В конторе Колю я не застал.

— Он тут редко сейчас бывает, — сказала мне уборщица. — Время такое — съём урожая!

На широком асфальтированном дворе было тесно от ящиков с яблоками. Между ними осторожно разворачивались тяжелые грузовики и тракторы с тележками, сновали верткие автопогрузчики и автокары. Двор был похож на перекресток дорог, по которым шло перебазирование механизированных войск. На упакованных ящиках свежей краской было написано: «Архангельск», «Свердловск», «Новосибирск»... Эх, яблочко, далеко ты катишься!

Коли и здесь не было.

— Где-нибудь в саду! К сторожке загляни!

Я никогда еще не был в таком громадном саду. Коля писал мне, что в сад приходят из леса лоси, кабаны и куницы, в нем живут зайцы-русаки. Это все гости непрошеные: лоси обкусывают молодые веточки, зайцы обгрызают кору, кабаны подкапывают корни. Другое дело — птицы и пчелы. Одни истребляют вредителей, другие опыляют цветущие яблони. И здесь их любили: на деревьях висели скворечни и дуплянки-синичники, а под яблонями ровными рядами разноцветных ульев выстроилась пасека.

Совсем засумерничало в саду, когда мы с Пы-

жом добрались до сторожки. Вышла стоптанная луна и покачивалась в перистых сквозных облаках.

Возле беленой мазанки сидел на перевернутом ящике сторож и гладил корноухого кудлатого пса. У стены стояла охотничья одноствол-ка-«переломка». В ее ствол был воткнут подсолнушек-позднышек.

— Сиди, Рвач, сиди, — уговаривал сторож псину. — Это сразу видно, не жулик. Те гнутся, хотят стать помене. А этот вон как идет, лбом яблоки сшибает.

— Я нечаянно, — сказал я. — Не успел пригнуться....

— Да сшибай, сшибай, — разрешил старик. — Их вон сколько — пять тысяч тонн! Замучились, день и ночь грузим.

Караульный пес Рвач колотил по ящику толстым от репьев хвостом и посматривал янтарными глазами то на меня, то на Пыжа. И взгляд их говорил совсем не то, о чем стучал хвост.

— Сердит, видать? — Я отвел на всякий случай городского чистюлю Пыжа в сторону и привязал под яблоней. Более близкое знакомство с кудлачом едва ли обошлось бы без драки.

— Что ты! — согласился сторож. — Второй ди-

ректор!

— Имя какое-то дали ему человечье… Дорого берет за свою охранную службу, что ли?

— Это смотря у кого какие штаны. Одному тут порвал, а они какие-то американские. Джинсы, что ли, двести рублей, говорят, стоят. А какой артист! Человека никогда не тронет, а одни только брюки, ну как ножом срежет!

«Это точно, — говорили прозрачные собачьи глаза. — Это я умею…»

— Охотников до витаминов хватает, — продолжал сторож. Он, видно, хотел наговориться впрок, на всю одинокую безмолвную ночь. — Как-то слышу раз: яблоню трясут, яблоки об землю — тук, тук, тук… Притихнет маленько, и опять — тук, тук, тук… Ах ты, пакостник, думаю, сейчас я тебя прямо с дерева сыму. Подкрался потихоньку — наверху никого. А под яблоней, смотрю, — кабанша и вокруг ейные поросята. Она нет-нет да и торкнет в ствол плечом — яблоки градом. Постоит, послушает, ушами поводит — и опять. Яблоки падают, а ребятки за ними гоняются, шустрые такие и полосатые, как хоккеисты… Или вот как тогда…

Голубой электрический свет залил сад. Сторож зажмурился и замолчал. Полуоблетевшие ветки

яблонь вычертились на свету кружевной сетью, в которой, как пойманные воробьи, темнели яблоки. По садовой дорожке катился, подпрыгивая на резиновых шинах, трактор. Он полоснул лучом по беленой стене сторожки, выхватил горой лежавшие под навесом яблоки и остановился. В прицепной тележке, держась за высокие борта, галдели и смеялись женщины. Среди них я разглядел Колю. Он узнал меня, выпрыгнул и сгреб в охапку:

— Садись, поехали!

Я подсадил Пыжа, меня подхватили сразу несколько крепких небольших рук. Выхватывая фарами стволы яблонь, трактор поскакал в сторону усадьбы. То наискосок, то поперек открывали свою глубину междурядья. В них клубился голубоватый туман. Держась друг за друга, девушки пели:

Как на лужке при луне…

Тележку трясло, песня прыгала и рвалась: «А-а-а… у-у-у…», но все равно было прекрасно ехать по лунному саду, пахнущему яблоками и отсыревшей к ночи землей.

Коля был моим охотничьим другом. Сколько немереных километров прошли мы вместе, о чем

только не было переговорено у неторопливого ночного костерка! Я провел у Коли почти весь следующий день. Он показывал мне сад. Пыж останавливался у холмиков свежекопаной земли, шумно сопел: где-то под нами, в таинственном саду корней, прокладывал свои ходы крот.

— Приезжай, когда откроется охота по черно-тропу! — прощался со мной Коля. — Пропасть, сколько стало кабанов!

Будто сообразив, о чем идет речь, Пыж напомнил о себе, ткнул в руку носом: «Соглашайся, чего там!»

И я пообещал:

— Приеду!

Осы, шершни и щурки

Запах яблок — один из самых моих любимых. Он говорит о довольстве осенней земли и радостном труде садовода. Теперь у меня в лодке пахнет Колиным садом. Целый ящик великолепных яблок!

Их сразу оценили осы. Пахучая струя, которая тянется за лодкой, притягивает их с близких берегов.

Осы вызывают у меня одно и то же воспоминание: летнее погожее утро, открытая веранда, где пьем мы чай, солнечные зайчики на стенах и потолке, сирень и птичий щебет за окном — и непременно оса, нащупывающая своим хоботком что-нибудь сладкое. За это воспоминание я отношусь к осам с симпатией.

Чем можно им поживиться в сентябрьском лесу? Отцветающие ромашки, скабиозы, лиловые головки татарника… Если повезет — грушидички, ягоды тёрна, лесные яблочки-кислушки, шиповник.

А тут — отборные плоды сорта «осеннее полосатое»! Сладкие и ароматные! Как только осы улавливали пахучий «шлейф» лодки, они без

сожаления расставались с тощими головками татарника и кидались в погоню. Они ползали по лодке, забирались мне в волосы и щекотали шею. Они искали лазейку в заветный ящик. На нем сидел Пыж. В густой Пыжевой шубе устойчиво держался запах «осеннего полосатого». Осы липли к Пыжу, как к меду. Он отщелкивался по-волчьи.

Чак! — мимо. Чак, чёлк!

— Ох, смотри, Пыж, «рубанет» тебя оса!

Чёлк, чёлк! — опять мимо. Чак! — и пес вскочил, завертелся, скалясь и строя рожи, отплевываясь от осы. Лодка накренилась. Пыж спрыгнул и поплыл к берегу: ну тебя с твоими яблоками!

А в ящике шло пиршество. Осы выгрызали в яблоках пещеры и, опьянев, засыпали. Я извлекал их соломинкой, вялых и сонных, сомлевших от блаженства. Выбранные осами яблоки были всегда самыми спелыми и сладкими.

Шершень тоже оса, только раза в два больше. Но жалит больнее, чем оса, не в два раза, а, пожалуй, раз в десять. Разнесет укушенное место, и, бывает, даже температура поднимется. Правда, ни осы, ни шершни первыми обычно не нападают.

На открытом берегу я увидел необыкновенную лесную яблоню. На всех диких яблонях яблоки

с грецкий орех, а на этой — как в Колином саду. Захотелось мне отведать лесного яблочка и сравнить с теми, что были в ящике. Я забрался на дерево, тряхнул. Посыпались яблоки. И тут же раздалось грозное гудение. Шершни! Я спрыгнул, подхватил первое попавшееся яблоко и кинулся бежать.

Целое и красивое снаружи яблоко было почти полностью выедено изнутри. Одна кожура. Так обработали его шершни. Я все-таки попробовал его. Оно было не таким вкусным, как из сада, но несравненно слаще, чем другие дички. Сидел, наверное, на берегу рыбак, грыз, глядя на поплавок, яблоко, кинул через плечо огрызок, и поднялось из него дерево, сманившее шершней со всей округи.

Там, где много ос, много и щурок. Осы — их излюбленная добыча. Оперение у щурок, как у райских птиц, окрашено красным и желтым, синим и зеленым. Щурки — землекопы, роют для своих гнезд норки. Только селятся не поодиночке, как зимородки, а компанией. Не раз я видел поселения щурок в подмытых рекой берегах. Осыплется берег, и откроется обрыв, слоеный, как торт наполеон. Верхний слой, самый черный, густо пророс корнями трав. Под ним серый, по-

светлее. А дальше и желтый, и коричневый, и снова черный. Так меняла свое русло речка, наносила глину, ил и песок. Щурки для своих гнезд выбирают слой помягче. Весь этот пласт, как из пулемета, черными дырками прострочен.

Однажды, когда я подплыл к такому обрыву, выпорхнула из норок стайка пестрых и стройных, чуть поменьше скворца, птиц — щурок. Будто радуга вспыхнула над рекой! И затараторили наперебой, как камешки в ручье посыпались: «Чур-р-р, чур-р-р, чур-р-р…»

Потому, наверное, и называются «щурки», что имя свое выговаривают.

Охотятся щурки высоко в небе и все время ведут гурчливую болтовню. Каждый день я слышал в поднебесье говорливых щурок, а видел близко только в этот раз.

Богатырские кони

На берегу стояла девушка в синих шароварах и бело-голубой динамовской майке. Она держала в поводу коня. Коня-великана. На его широченной спине можно было улечься, как на диване. Его толстые ноги были похожи на колонны, а копыта — на перевернутые небольшие тазики. Но удивительнее всего была его масть — белая с шоколадными пятнами. Или шоколадная с белыми пятнами. Пожалуй, белого и шоколадного коню досталось поровну.

Конь пил. Круглые глотки прокатывались, как мячики, по его склоненной шее. Казалось, речка изменила течение и потекла к его губам. Даже подводные травы повернулись, тянули длинные листья туда, где пил конь. А он засасывал Битюг и тяжелел. Его копыто, накрывшее травяную кочку, медленно погружалось в воду.

Девушка щурилась от солнца и легонько посвистывала. Так делают всегда, чтобы лошадь напилась всласть. Ветерок-полуденник перебирал белокурые волосы девушки и шевелил тяжелую гриву коня, закрывавшую ему глаза.

На лугу паслись еще два коня, такие же мощ-

ные и гривастые. Только масть их была обычной: один — вороной[7], а другой — гнедой[8]. Их начищенные бока блестели на солнце. Кони похрустывали травой, отмахивались от слепней пышными хвостами и топали ногами. Зеленый бережок вздрагивал от их копыт и отдавался глухим звуком. Наверное, именно такие кони носили богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича, когда они объезжали границы Руси, охраняя ее от супостата.

— Кони, вижу, пасутся. Где же чудо-богатыри? — спросил я девушку.

— А зачет пошли сдавать. Мы тут на конеферме на практике. А я вчера сдала.

— Хороши битюги на Битюге! — похлопал я по бело-шоколадной шее.

Но девушка даже не улыбнулась. Для нее эти слова не были каламбуром.

— Так ведь первые русские тяжеловозы пошли отсюда, с Битюга. Потому их и назвали «битюги», — пояснила она, не догадываясь, что я здесь жил когда-то. Не зря она сдавала вчера зачет по коневодству! — Когда царь Петр строил под

---

[7] Примечания: 7
Вороно́й — черный.

[8] Примечания: 8
Гнедо́й — коричневый.

Воронежем первые корабли российского флота, потребовались могучие лошади, чтобы подвозить дубовые бревна и мачтовые сосны. Царь повелел купить их за границей — в Голландии, Германии. Но эти тяжелые лошади плохо переносили здешний климат, болели. Тогда их смешали с местными лошаденками, выносливыми и неприхотливыми. И появились знаменитые битюги. А порода пятнистых лошадей, как Пегаш, стала даже называться «воронежской». Но их осталось совсем мало…

Мне захотелось поближе познакомиться с редкостным конем. Я угостил его хлебом. Пегаш осторожно подобрал с ладони ломоть и шумно обнюхал мой карман. Одна ноздря у него была темная, а другая розоватая, в белесой шерстке. Как белый мышонок.

До свидания, бобровая река!

Завтра кончится мое маленькое путешествие. Я долго сижу у костра и слушаю тишину. Пыж сладко спит у меня в ногах. Костер прогорел. Синие огоньки перебегают по жарким углям. Тепло и уютно. Где-то угукает и посвистывает сыч. Налетела на мягких крыльях, бесшумно шарахнулась в темноту сова. Лесная мышь точит недалеко от меня оставшийся от чая сухарь. Экое счастье ей подвалило! Ее крохотный глазок поблескивает в трепетном свете красных углей.

Поздно вечером вернулись в лес с полей журавли. Я издалека услышал их разговор и стал всматриваться в темное небо. Журавлиный строй прошел невысоко. Мне видны были смутные силуэты птиц, слышен шум их крыльев. Через несколько минут они сели на свое болото и радостно закликали. Так радуется только тот, кто возвращается к родному дому.

Я лежал у костра и листал мой бортжурнал. Он был почти весь исчеркан торопливыми записями и рисунками — не бог весть какими, но все равно это была память о Битюге, его приметы. Нахохлившийся подорлик на высокой береговой

сушине, цапля на ракушечной отмели, эскадра гусей возле села Коршево, два мальчика верхом на одной лошади, камыши, белые кувшинки… Вместе с тетрадкой я мысленно перелистывал дни моего путешествия. Оно было недолгим, но радостным. Исполнилась давняя мечта. Как в детстве, я снова ощутил себя дальним путешественником, попавшим в таинственное зеленое царство сказочной реки.

Спасибо тебе, Битюг! Ты обогрел меня последними деньками теплого бабьего лета. Ты познакомил с хорошими людьми, хозяевами здешних мест. Я любовался твоей чистой водой, деревьями и цветами. Вместе с Пыжом, остроухой лайкой на носу лодки, мы проплыли тихо, чтобы не мешать зверям и птицам на твоих берегах. Все эти дни я был счастлив от близости к родной земле и обилия жизни на ней.



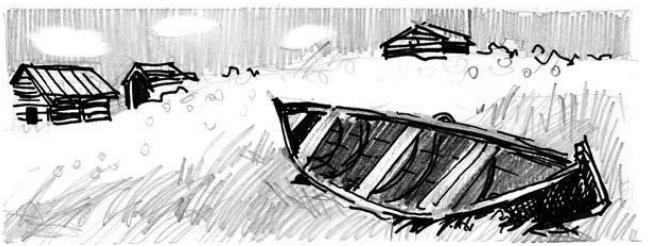
Живите и множьтесь, звери, рыбы и птицы!
Берегите, люди, Битюг!



Дианова гора



Дом



Прошлую осень я провел на Дианової горе. В опустевшую деревеньку меня привез на мотоцикле мой приятель Володя.

— Вот оно, родовое подворье! — торжественно объявил Володя и лихо развернулся перед старым двухэтажным домом. — Дед в нем жил, мать жила, да и мне досталось. Дед сам рубил. Все дома тут своими руками ставлены.

От долгих лет и непогод дом был морщинист и темен. Маленькие, кое-где подзаштопанные фанерой оконца первого этажа тускло отражали наши ноги и сверкавший никелем мотоцикл. А в больших глазастых окнах наверху радостно

светилось осеннее белое небо.

— Жили внизу, а наверху была школа, — пояснил Володя. — Так этот дом был задуман. Дед грамоты не разумел, но ученых сильно уважал. Четыре класса вместе занимались. И учительница была одна. В одном углу читают по складам «мама мыла раму», а в другом трудятся над задачкой про две трубы, через которые вливается-выливается.

Деревня Дианова гора мне понравилась. На веселом месте она стояла. Светло было на горе от близкого неба. Радовались простору глаза.

— Вот и живи, — хлопнул меня по плечу Володя. — Тут самое высокое место во всем Заонежье. Печь в порядке, дров навалом — чего тебе еще надо?

И я остался на Дианової горе.

Диан и Ксантиппа

Закурился дым над моей трубой. Очнулась деревенька, запахло в ней жилым. Днем я бродил по осеннему лесу, а по вечерам топил печку, глядел на огонь и думал, почему так странно назвали гору и деревеньку на ней — Дианова гора.

На другой же день после моего новоселья я почувствовал, что в доме есть кто-то еще. Какое-то живое существо. Мне слышались шорохи. Чьи-то шаги. Может, чудилось?

Я взял фонарик и вышел в сени. Громадный крытый двор дохнул на меня черной неподвижной пустотой. Желтое пятно фонаря скользило по стене и высвечивало старые веревки на гвозде, худые корзинки, трещины и сучки бревен, похожие на рыбьи морды.

Стоп! В круге света стояла голенастая курица. Ее удивленный круглый глаз горел красным рубином. Курица освоилась под фонарем и тихо, как привидение, пошла вдоль стены, высоко выкидывая ногу, «печатая» шаг длиннопалой растопыренной лапой. Так маршировали на плацу солдаты при императоре Павле, обожавшем муштру.

Курица задумчиво промаршировала до угла, развернулась и направилась назад. Пятно света двигалось за ней, будто за тенором на сцене, который прогуливается, перед тем как спеть свое знаменитое «куда, куда вы удалились…».

— Типа, типа, типа, — поманил я.

Мне в ответ раздалось мяуканье. Курица?! Что за чудеса! Вспыхнули и померкли два круглых глаза. По балке шел кот — такой же серый и пыльный, как толстая балка.

— Кс, кс, кс… типа, типа, типа, — звал я. — Кс, кс, кс, типа, типа, типа…

Сложилось когда-то слышанное слово — Ксантиппа. Это было имя для курицы.

А кота я назвал Дианом. Он был холодный и очень легкий. Видно, с мышами дело обстояло неважно. Кот терся боками о мой сапог. Соскучился.

Володя рассказывал, что последние жители съехали с Дианової горы два месяца назад. Ах бедолаги Диан и Ксантиппа, как же вы отстали от хозяев, одни оказались в пустой деревеньке?! А что ждало бы вас зимой?

У Диана на передней лапе я обнаружил сквозную ранку. То ли прокус, то ли прошла навылет дробинка. А может, проколол на гвозде, когда

кинулся за мышью.

Я залил ранку йодом. Кот затряс лапой, хотел зализать боль, но резкий запах йода шибанул ему в нос, заставил зажмуриться. Он мяукал негромко, косился на меня и думал, наверное: «Сидеть бы мне лучше на своей пыльной балке, чем связываться с таким лекарем».

Курице я покрошил хлеба. И тут вспомнил, что Ксантиппой звали жену древнегреческого знаменитого мудреца Сократа, женщину глупую и вздорную. Но хромая курица не знала этого и не возражала быть Ксантиппой.

Тропинки

Люди из деревни уехали, а набитые в лесу тропинки остались. И каждая из них имела свой смысл — то дело, для которого она была проложена.

Я люблю ходить по глухим, заброшенным тропинкам. Каждый день я брал возле деревни новую тропинку и шел по ней в глубь леса. Куда она приведет? Для какой нужды проторил ее безвестный человек?

Идешь-идешь и вдруг окажешься в такой же, как Дианова гора, маленькой и безлюдной деревеньке. Или приведет тропка к замшелому срубу над ключом, рядом с которым припасена для прохожего человека пол-литровая стеклянная банка. А то выйдешь на берег озера, где стоят у сосны длинные сухие удилища. И можешь быть уверенным, что рыба тут берёт, иначе не стал бы рыбак ходить на одно и то же место.

Всегда кажется, что в глухомани грибы стоят гуще и дичи больше держится. Но на тропинке не меньше увидишь, чем в глуши. Травянистые дорожки и тропы любит гриб. Особенно белый. Тут ему теплее, больше солнышка. Дикие куры-тете-

рева вылетают на дорожки и тропы поклевать мелкие камешки. Пролетит над дорогой, как по лесному коридору, тяжелый глухарь. И ходят по ним большие и малые звери. И наверное, считают их своими. А может, так и было: первым прошел зверь, а потом уж по его следу прошел человек. Так и ходили по одним и тем же тропинкам много лет, не задевая друг дружку. Потому что тропинки выбирают себе самые удобные для ходьбы места.

А одна из тропок утянула меня на скалу. С камня на камень, на самую верхотуру. Ничего, конечно, там не растет, ни грибы, ни ягоды. Камень. Да сухой ломкий мох. И обсиженное на мху местечко. Я сел, чтобы перевести дух, и загляделся — так красивы были внизу разукрашенные по осени леса. Значит, и это нужно было человеку из деревни Дианова гора — забраться повыше и полюбоваться открывшейся округой.

Озорник

За бревенчатой стеной дома послышались шаги. Белые долгие ноги проплыли за окном. Кот Диан на подоконнике выгнул спину и зашипел. В безлюдную деревеньку пришел лось.

Лось понюхал висевшую на ограде тряпку и остановился против рам, стоявших у крыльца. Эти зимние рамы Володя снял со второго этажа, чтобы потом забрать на машине для своего нового дома в поселке. Из застекленных рам на лося глянул лесной могучий зверь. У него были такие же широкие рога-лопаты, горбатый нос и висевшая мочалкой борода. Лось отступил. Зверь в раме отступил тоже. Тогда лось фыркнул, набычился и ударил зверя рогом.



Посыпалось битое стекло. Я, как был в носках, выбежал на крыльцо. Но перепуганный лось уже махал к лесу. Тот, что смотрел из рамы, сидел теперь на его рогах. Лось метался из стороны в

сторону и крутил головой, стараясь избавиться от рамы. Наконец он сбросил ее на елку и исчез в лесу.

— Знаю я этого шкодника, — сказал Володя, когда приехал за рамами. — Лет семь назад тут жили ленинградские лесозаготовители и подобрали лосенка. А потом он ушел. Но к людям нет-нет да и наведывается. Однажды мотоцикл «Урал» с коляской перевернул, пока хозяин волнухи ломал. А как-то веревку с бельем унес на рогах. По всему лесу рубахи собирали. Тут же, надо спасибо сказать, хоть рама цела осталась. А стекла — что, стекла я вставлю.

Химик

Странный человек вышел из лесу. Вся его одежда — брюки, телогрейка и шапка — была вывернута наизнанку. Лохматые швы, карманы и разноцветные заплатки торчали во все стороны. Даже голенища кирзовых сапог с болтавшимися ушками были завернуты до предела, болтались на щиколотках. Человек был небрит и измазан сажей.

— Заблудился? — спросил я.

— Шишкач заморочил, — пожаловался человек.

— Какой «шишкач»?

— Да такой. Обыкновенный. Маленький, зеленый. Будто мохом пророс. С елки на елку, с елки на елку и за мной, шишками подгоняет. Два раза по спине врезал. А сам-то — всего ничего — чуть поболе шишки.

— Видел?

— Кого?

— Его.

— Его-то? Да как тебя. Я ведь в лесу ночевал. Как костер прогорел немножко, он и спустился.

— Тут ты и проснулся?

— А ну тебя!.. — рассердился человек. — Я ему дело, а он… Не хочешь — не верь.

— Ну ладно, не обижайся, — попросил я. — Что же, помогает, когда заблудишься, одежду выворачивать?

— Как видишь, — буркнул человек. — Вышел ведь.

— Чем помогло-то?

— А вот вспомнил я, что есть деревня на самом высоком месте, и стал идти все вверх да вверх.

— Это ты и так мог догадаться.

— Мог, да не догадался. А как на левую сторону все повывернул, тут мне и пришло в голову.

Только сейчас я заметил, что человек сильно продрог. Щетина на его посиневших щеках топорщилась от холода, как щетка.

— Пойдем в дом, у меня тепло. Замерз ведь?

— Есть маленечко! Пойдем! — с радостью согласился человек.

Дома он переоделся. Даже майка оказалась у него вывернутой. Он был покрыт синеватой куриной кожей, только руки были у него желтыми, как бы продымленными.

— Химик я, — пояснил человек и растопырил передо мной пальцы. — Живицу гоню. Видел небось, жестяные вороночки со смолой-живицей

на соснах висят? Вот я и есть подсочник. А химик потому, что кислотой живицу выгоняю. Химией. Шариком таким, который в кислоте смачивается. Недавно я в этом лесхозе, мест толком не знаю…

Химик долго не мог согреться. Холод, который забрался в него ночью у костра, медленно выходил теперь наружу и осыпал кожу мурашками.

— Эх, баньку бы! — знобко передернулся химик, будто стряхивая облепившие его мурашки.

— Вон банька! — показал я в окно. — Но я еще не парился. Печка разорена маленько. А котел вроде бы цел.

— Печку я подхимичу! — обрадовался Химик. — Лишь бы котел был!

Черная банька пахла остывшим горьким дымом. В углу за лавкой стояли два березовых веника.

— Выносить положено, — буркнул Химик и выбросил веники в предбанник.

— А что? Какая разница, где им сохнуть?

— Здесь-то, в тепле, могут баннушки развестись, вот что, — строго сказал Химик. — В мокрых вениках, бывает, появляются.

— Баннушки? А это что за «звери»?

— Баннушки они и есть баннушки. Вроде как чертенята такие… Вроде мочалки с рожками-

ножками. Тоже озорники хорошие.

— Ты их тоже видел?

— Не, — признался Химик. — Этих не видел. Люди видели…

Мы «подхимичили» топку и подложили в каменку лепёхи плитняка, отслоившиеся от скалы. Весело взялись сухие дрова. В бане закачались дымные одеяла. Сталкиваясь головами, мы с Химиком ползали под зыбким пологом дыма и домазывали печку глиной при свете тусклого фонаря «летучая мышь».

Хорошая получилась банька! Я шагнул в ее раскаленное нутро, и сухой жар перехватил мне дыхание. Как от озноба, мы покрылись гусиной кожей. Химик ухал и крякал.

Сбрызнутая водой, каменка взрывалась и выдыхала новые клубы зноя. Плоские камни лопались и стреляли горячими осколками.

— Вот они, проделки ихние! — шайкой укрывался от осколков Химик. — Фулиганье! А ты говоришь…

Мы ожесточенно хлестались вениками. В бане запахло майской березой. Пламя в «летучей мыши» подпрыгивало и вдруг стало гаснуть.

— Солярка кончилась, — предположил я.

— Солярки тут навалом, — поболтал грязный

фонарь Химик и оглядел углы. — Опять небось эти банные фулиганы…

— Да брось ты! — рассердился я на Химика. — Значит, воздуху нашей «мыши» не хватает. Весь воздух мы с тобой выпарили!

— Тогда давай одеваться, — сказал Химик. — В темноте я несогласный…

Весь вечер мы тянули чай с брусничным листом. Химик, красный как рак, утирал лицо латаной рубахой и мурлыкал какую-то странную песню про далекую планету. Кот Диан урчал у меня на коленях, «вышивал» когтями по брезенту. Отсветы огня из открытой печи бродили по морщинистым бревенчатым стенам. Было тепло и уютно. Тихонько подвывал в печной трубе ветер.

— Ишь выступает! — покосился на потолок Химик.

— Кто?

— Да вон… дед Дымовик. В трубах живет. Нам с тобой дым — дышать нечем, а ему — первое удовольствие. Как затопят печь, его обдаст дымом, он и начинает.

— Что же он, вроде Шишкача?

— Нет, — серьезно продолжал Химик. — Не похож. Этот совсем маленький. Мохнатенький.

Дымок из него сочится, как из курной баньки.

Шмеля видел? Этот чуть поболе. А вместо глаз — две искорки.

— Смешной ты, Химик! Как шаман из тайги!

— Конечно, из тайги, откуда же. А ты не смейся, не смейся. Ты идешь по тайге — тихо, думаешь, пусто… А за тобой тыщи глаз смотрят. И звери, и всякие птюшечки-зверюшечки, и разная чудаковина. Поживешь с моё в тайге, заведешь себе и Шишкача, и бабку Темнотницу-полуночницу, и девок-Зоревниц, что под утро блазнятся[9]… Всё вроде бы с ними повеселее…

Мы легли спать, но почему-то не спалось. После бани и горячего чая мы медленно остывали в темноте, как вынутые из печи караваи. За черным окном ночь. Густая тишина заложила уши, будто ватой. Неужели на этой земле где-то есть ярко освещенные улицы, мчатся поезда?

— Пойдем со мной, — уговаривал меня Химик. — Вместе будем живицу гнать, а по вечерам песни петь. Весело заживем! А то я все один да один… Платят нам прилично, заработаем…

Когда на другой день я пришел с охоты, Химика не было. Ушел в свою подсочную избушку.

Никто не пел больше в моей трубе, не стреляли

---

[9] Примечания: 9

Бла́зниться — мерещиться.

осколками камни в бане. Ни разу не пульнули мне на тропе шишкой в спину. Видно, все, кого выдумал в своем одиночестве Химик, ушли вместе с ним. И Шишкач, и баннушки, и дед Дымовик.

Хороший все-таки человек Химик. Только немножко странный. А может, тем и хороший, что странный.

Ночной переполох

Меня разбудили шум и возня во дворе. Всегда молчаливая, взволнованно кокала Ксантиппа. Шипел и гневно кашлял Диан. Что-то упало. Что-то звякнуло. Захлопали крылья. Кто-то мягко прыгнул, шмякнулся о дверь, пробежал по сухому сену. Похоже, за стеной шла какая-то потасовка.

Я схватил фонарик и выскочил во двор. Мне в ноги метнулся кот. Он был взъерошен, как ламповый ёрш, и ужасно возбужден. Диан выгибался калачом, ходил на цыпочках и устрашающе плевался в темноту. Мое появление во дворе укрепило его воинственный дух.

Курицы на месте не было. Я отыскал ее фонариком высоко на балке. Луч фонаря будто столкнул Ксантиппу. Бестолково размахивая крыльями, она с воплями слетела вниз, как выброшенная из окна тетрадка. Из разорванного куриного гребня текла кровь и бисеринками скатывалась по белой шее. Кто-то пришел из ночного леса, чтобы убить Ксантиппу и полакомиться курятиной. Но кажется, этому помешал кот Диан. Он вступился за подругу по несчастью. И наверное, враг оказался силен и страшен: очень уж кот был взвинчен

дракой и никак не мог успокоиться. Я нагнулся, чтобы погладить его, но кот испугался, вздрогнул и снова выгнулся дужкой амбарного замка.

Кто же все-таки напал на Ксантиппу?

Двор был пуст.

Я вышел на улицу и посветил с крыльца. Фонарик вырвал из темноты полоску свалявшейся жухлой травы, кусок загороды и ближнюю березу. Дальше луч увязал в ночи, рассеивался без остатка в пустом бесконечном воздухе, окружавшем гору.

Неразгаданной осталась в ту ночь тайна покушения на Ксантиппу.

Вышка в лесу

На Дианової горе стоит огромная деревянная вышка. Любопытно мне стало: далеко ли с нее видно? Я оставил внизу ружье и рюкзак и полез по узенькой лестнице. Меня окружали бревна, сбитые здоровенными скобами. Сначала они казались вполне прочными. Но чем выше я забирался, тем больше замечал, как повылезли скобы из потрескавшихся балок, как болтается и скрипит под ногой лестница, и вышка становилась не такой уж надежной… Чтобы не кружилась голова, я вниз не смотрел, а просто лез да лез, пока перед глазами были ступеньки.

Сквозь вышку свободно протекал поднебесный ветер. Он был совсем другим, чем на земле. Поднебесный ветер не метался из стороны в сторону и пах не грибами, а студеной ключевой водой. Вышка чуть покачивалась, вздрагивала и тихонько постанывала. Вдруг завалится? Высоко лететь с вышки, которая загремит с горы!

Наконец ступеньки кончились, появилась дощатая щелястая площадка. Только теперь я решился взглянуть на открывшуюся мне картину. Холодок радостного страха сжал мое сердце — так

широко лежало вокруг Заонежье, так далеко внизу была земля. Ружье — не больше, чем авторучка, банька — как спичечный коробок. Ворона пролетела подо мной, распластав растрепанные крылья.

То, что видно было сверху, напоминало, пожалуй, не картину, а громадную палитру, на которую художник, готовясь писать, выдавил краски. Темно-синий кобальт — это Онего. Разводы охры — сухие болота. Широкие пятна густо-зеленого крона — это еловые и сосновые леса. Желтые мазки — березняки, багряные — осины. А ярко-красные — это, наверное, рябинки. Поседевшие от ночного морозца дорожки и тропки протянулись по лесу нитями паутины. Ясным стеклом блестел молодой лед лесных озер. Только лазури — небесной голубизны — пожалел художник. Серый цвет преобладал в северном осеннем небе. Белила с сажей.

На перилах площадки я обнаружил странную надпись: «Ты не прав, Мухин». Интересно, что это за Мухин? В чем он не прав? И почему человек, забравшись на такую высоту, вдруг вспомнил о своей обиде и не поленился вырезать непонятные слова?

В лесу на белых дорожках крутилась лисьими

хвостами рыжая метель — это низовой ветер гонял палые листья. Как зенитки, смотрели в небо черные трубы деревенских крыш. Над моей трубой дрожал, струился теплый воздух: в протопившейся горячей печи упревала заячья похлёбка. Через трубу я как бы спустился взглядом к себе в дом, увидел Диана на лавке и Ксантиппу в отгороженном углу, листки бумаги на столе, представил себя — как сбрасываю у печи дрова, щепаю лучину... Хорошо все-таки, что я приехал на Дианову гору!

Я чувствовал себя летящим в потоке свежего ровного ветра. Он протекал через меня так же свободно, как сквозь ажурную вышку.

«Ты не прав, Мухин»... Ну а я? Всегда ли я бываю прав?

С одной стороны, получалось, что всегда. Ведь когда знаешь, что не прав, хочешь тут же исправиться. Но это когда знаешь! А если не знаешь? Значит, выходило, с другой стороны, что можешь оказаться не прав и даже не знать об этом. Но тогда, может быть, поправят друзья, им со стороны виднее? А если друг окажется не прав, когда будет говорить, что я не прав?

Тут я совсем запутался и снова стал смотреть, как ветер гнал по дороге в поселок вороха сухих

листьев. Столб крутившейся листвы налетел на что-то, рассыпался, и я увидел знакомый мотоцикл. Это ехал Володя. А рядом с ним в коляске сидел кто-то небольшой, черный и узкоплечий.

Я заторопился вниз. Ступеньки уже не казались мне шатучими и ненадежными, я успел привыкнуть к вышке и к высоте.

— Хлебца тебе привез, — протянул Володя горячую телогрейку с завернутыми в нее буханками. — Прямо из пекарни, с лопаты! А еще — вот, товарища Малю!

Володя отстегнул карабинчик, из коляски выпрыгнула его лайка по имени Мальчик.

— А то что ж тебе в лесу без собаки — как без глаз, без ушей!

И мы зажили на горе вчетвером.

Куница

Осеннее Онего непокойно. Тяжелые волны выкатываются с озера и разбиваются о береговые камни. Обледеневшие от брызг кусты позванивают на ветру, как висюльки на хрустальной люстре.

Этот звон привлек куницу. Ночью она вышла на берег и понюхала ветер. Он нес запахи взбаламученной воды и солярки. Застигнутый непогодой, далеко в Онеге пыхтел движком катер. Огонек на его мачте то появлялся, то снова проваливался между волнами. Мокрые камни, хлопья желтой пены, выброшенные обломки досок и тростника… Поживиться на берегу было нечем. Куница соскользнула с валуна в черничник, перебралась по упавшей осине через ручей и направилась в лес. Сильная и ловкая, куница короткими прыжками шла по каменистым гривам-сельгам[10], взбиралась на деревья, неслышно протекала темной меховой струйкой по сукам сосен и опять

[10] Примечания: 10

Се́льга — каменистая, скалистая гряда, разделяющая болота, низменности, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток, по движению ледника *(карел).*

спускалась на землю. Множество запахов окружало куницу в ночном лесу. Но ей нужен был только один — запах близкой добычи: спящей в кустах птахи, белки, зазевавшегося зайчонка-листопадника…

Кунице не везло. Одна белка успела юркнуть в дупло, слишком узкое для хищницы. Куница попыталась разгрызть лаз, но дерево оказалось толстым и прочным, и ей пришлось отступиться. Другая белка пустилась наутек по молодому сосняку, ветки которого не выдерживали тяжесть куницы. Куница несколько раз оборвалась, отстала и прекратила погоню. Рябчик, за которым она кинулась, успел слететь, задев ее крылом, и в куньем носу надолго остался дразнящий запах теплых рябчиных перьев…

Под утро куница пришла на Дианову гору. Здесь в пустом сарае была легкая добыча — белая нескладная курица, почти не умевшая летать. Она уже дважды ускользала от куньих зубов. Кунице мешал пушистый дымчатый кот.

Куница вспомнила о добыче и решила снова попытать счастья.

Над черными крышами неслись скомканные ветром облака. Иногда между ними выглядывала луна, в деревне светлело, тускло поблескивали

окна — дома как будто приоткрывали глаза. Но тучи смыкались, луна исчезала, и дома опять погружались в сон.

Через знакомую щель куница шмыгнула в сарай. В нем было темно и глухо. И пусто. Куница пошарила там, где раньше сидела курица. Никого. Она прыгнула на ясли, обследовала полку. Звякнула упавшая консервная банка.

В доме раздался яростный лай. Собака! Откуда она взялась? Это было страшнее всего. Куница бросилась к щели.

Мальчик скрёб порог, пытался открыть дверь. Я выскочил на крыльцо. Над землей еще стояла ночь. Лишь на востоке брезжил поясок холодной зорьки. Маля исчез в лесу. Лай его удалялся: он кого-то преследовал. Но кого? Кто приходил к нам в гости?

Я наскоро оделся, схватил ружье и побежал за лайкой. В лесу было еще темнее, чем на горе. Я вламывался в кусты, оскальзывался на мшистых камнях, проваливался в какие-то ямы и колдобины. Время от времени я останавливался и слушал, лает ли Маля. Высокие сосны шумели макушками и роняли шишки. Мне вспомнился Химик: уж не его ли это Шишкач?

Лай собаки слышался далеко и глухо. И опять

шла погоня: Маля — за ночным гостем, я — за Малей, а за мной, может быть, прыгал по елкам Шишкач — то и дело летели в меня шишки и какие-то сухие, шершавые сучки.

Медленно, неохотно впускал лес рассвет. Маля был уже недалеко.

Передо мной лежало урочище[11], сжатое скалистыми сельгами. А в нем лаяло несколько Малей.

«Ай-ай!» — неслось из урочища.

«Ай-ай-ай!» — дробилось справа.

«Ай-ай-ай! Ай-ай-ай!» — катилось слева.

Эхо отскакивало от скал, множилось и переплеталось. Полно урочище лаек! Который же здесь Маля?

Я спустился в урочище. Эхо стихло. Мальчик сидел под елкой и поглядывал наверх. Это была очень старая, очень высокая ель. Зеленые бороды лишайников свисали с ее широких густых лап. Дерево спало. Спали вокруг и другие деревья, такие же старые и зеленобородые. Лай собаки звенел под ними, как надоедливый будильник. Глухое урочище не хотело просыпаться. Только наверху все так же весело скакало по сельгам эхо.

---

[11] Примечания: 11

Уро́чище — здесь: объемное глуховатое место в лесу между сельгами.

Там лес уже не спал.

Я обошел ель, но никого, ничего на ней не заметил. Кроме вороньего гнезда, темневшего высоко у ствола. Пусто было и на соседних елях. На кого ты лаешь, Маля?



Я взял сук и поскрёб им по еловому стволу все выше и выше, будто полез наверх. Из гнезда выглянула круглая голова с маленькими круглыми ушками. И тут же спряталась. Я заколотил суком по елке. Из гнезда шмыгнул, ручейком прокатился по стволу кто-то темный, длинный, гибкий… Куница!

Сумрачное урочище вздрогнуло от выстрела. Куница долго падала из серого рассветного неба, задевая за ветки, и Маля поймал ее на лету.

Так мы с Малей пришли к утреннему чаю с добычей. Кот, увидев куницу, зашипел и прыгнул на печь. Курица забилась в угол.

Не бойся, Диан, не бойся, Ксантиппа! Ничто не грозит вам больше в лесу.

Звезды

Мне когда-то подарили книгу о звездах — звездный атлас. На круглых синих картах, изображающих небо, звезды так соединены тонкими линиями, что получаются фигуры-созвездия, похожие своими очертаниями на те названия, которые даны им с давних пор. Большая и Малая Медведицы, Лебедь, охотник Орион… Населенное животными и сказочными героями небо оживает.

Смелый охотник Орион пленился красотой семи дочерей титана Атланта и не мог сделать выбора, которой из них отдать предпочтение.

Надоела красавицам назойливость Ориона, и обернулись они белыми голубками. Охотник натянул свой лук на стайку голубок, но они успели превратиться в прекрасное созвездие — Плеяды… Стал созвездием и Орион, навсегда застыв с натянутым луком в руке.

Но это на звездной карте. А когда смотришь в настоящее вечернее небо, где нет, конечно, никаких линий, созвездия теряются. Мне то не хватает звезд, то я нахожу лишние, каких и на карте-то нет. К тому же мешает электрическое

зарево московских огней, от которых звезды как бы смущаются и гасят свет.

На горе неба много. По ночам его усыпают звезды, близкие и крупные, как фонари. Вот где пригодилась бы подаренная книга!

Перед сном мы втроем — я, Маля и Диан — выходим полюбоваться звездным небом. Ксантиппа давно спит. Куры, наверное, единственные птицы, которые никогда не видят звезд.

К ночи немножко морозит. Тихо. Чуть шуршат, испуская свет, близкие звезды. Или это, как морская раковина, шумит в ушах тишина?

Маля и Диан в небо не смотрят. Они, навострив ушки, слушают лес. Хрустнул сучок. Ворохнулся сухой лист. В ночном темном лесу осторожно бродят звери, шмыгают в повядшей траве мыши.

За лесами, за Онегой на горизонте светятся россыпи огней, как упавшие на землю созвездия. Одна звездочка на Онеге движется — это, наверное, спешит домой катер.

Мне тоже надоедает смотреть на звезды. Я ничего не могу больше вспомнить про Ориона, небесного охотника. Как он стоял с натянутым луком тысячу лет назад, так же холодно будет светить еще тысячи лет.

Легче представить жизнь огней в далеких

поселках — земных теплых звезд. Кто-то сидит сейчас за уроками. Кто-то смотрит телевизор. А может, сидят за столом, едят вареную картошку и пьют чай… Я подумал вдруг, что и с катера, и из поселков за Онегой тоже видят огонь в моем окне — далекую земную звездочку на высокой горе. Только вряд ли могут представить, как сижу я сейчас на поленнице и почесываю за ухом бездомного кота Диана…

Где-то в лесу громко свистнул сыч-полуночник.

Пора спать.

Тянут гуси

Если в ночь поднимется ветер, быть затяжному ненастью. Это верная примета.

Вчера под вечер вдруг задул северный ветер, жесткий и порывистый. Его зовут здесь северигой. И погода сразу сломалась. Холодно стало, будто распахнулось окно и широко потекла стужа.

Ночью северига окреп. За окном свистело, на крыше стучала оторвавшаяся тесина, что-то колотилось и тоненько выло в трубе. Под ударами ветра дом вздрагивал и кряхтел. Ветер где-то просачивался и внутрь. Он бродил по дому, перебирал бумаги на столе и трогал висевшее у печи полотенце. Всю ночь через гору летели гуси. Они шли «шубой», стая за стаей.

Я проснулся, лежал в темноте и слушал их крики. Видно, зима пришла в приполярную тундру, на далекую гусиную родину. Потянулись гуси на теплый юг.

Они летели и днем. Над горой стаи шли низко. Мне был слышен шум их сильных торопливых крыльев. От одной стаи отделилось что-то похожее на узкую листовку и повисло в воздухе.

Листовка крутилась воронкой и козыряла на ветру. Я следил за ней, пока она не ткнулась в землю. Оказалось, это перо. Крепкое, плотное маховое перо. От него, как на вышке, пахло свежим поднебесным ветром.

Маля и Диан раньше меня слышали налетавших гусей. Они крутили головами, высматривая стаю. Маля тихонько скулил. От печальных гусиных криков нам всем было как-то неспокойно. Даже Ксантиппа больше чем обычно топталась в своем углу и заглядывала в окно. Вероятно, все мы чувствовали, что не только в гусиной жизни произошли изменения. Менялось время года. Поспешно уходила осень. Северига безжалостно ободрал последние листочки с берез и выдул из леса запахи прели и грибов. Молодым близким снегом запахло в лесу.

Последний гусь принес на хвосте зиму. В воздухе замелькали снежинки. Легкие, сухие, они долго носились по ветру и не хотели ложиться на землю. Вскоре целые рои белых мух закружились в небе. Снеговые заряды шли из-за Онеги волнами. Возле крыльца выросла первая косица сыпучего снега.

Пришло время думать об отъезде. Мне жаль было расставаться с Дианом и Ксантиппой. Я при-

вык к ним и решил взять их с собой. И принялся мастерить клетку для Ксантиппы и лукошко для Диана.

Ганнибал

Мне остается рассказать, как началась городская жизнь у Диана и Ксантиппы.

Дома коту было предоставлено старое кресло, а курице — просторный балкон.

— Скучновато ей одной сидеть на балконе, — покачал головой Юра. Мой друг приехал на машине узнать, как я провел отпуск. — Городские бездельники голуби — это не компания для такой мудрой курицы.

— Да вот, собираюсь съездить на Птичий рынок, купить ей петуха, — сказал я.

— Не понимаю, что значит «купить ей петуха»? — пожал плечами Юра. — Кто будет сидеть с петухом на балконе, ты или Ксантиппа? Забирай курицу и едем на Птичий. Пусть сама себе выберет.

Мы показывали Ксантиппе всех петухов в птичьем ряду и старались определить, который из них ей больше нравится.

— Нет, — морщился Юра. — Все не то. Отворачивается. Просто нос воротит. Одичала, что ли, на горе?

В который раз мы проходили куриным рядом.

Хозяйки покупали живой товар и уносила его, держа за связанные ноги вниз головой. Ксантиппа возмущенно кокала.

— Вообще-то я ее понимаю, — останавливался Юра перед белыми тощими петушками. — Разве ж это петухи? Марафонцы какие-то, а не петухи. К тому же в этих леггорнах[12] слишком уж сквозит их инкубаторское происхождение.

Наконец мы нашли, кажется, то, что нужно. Грудастый черный петух потряхивал бородой и поглядывал на нас дерзким оранжевым глазом. Это был обыкновенный деревенский кочет, родившийся под наседкой и выросший на задворках. Его продавала бабка в пуховой шали и модном плаще. Из бабкиной пазухи испуганно таращилась остромордая кошчонка. Я показал кочета Ксантиппе. Судя по всему, кочет ей понравился. Он, наверное, был похож на тех, что горланили когда-то на Дианово горе.

---

[12] Примечания: 12
Легго́рны — порода кур.



— Поет? — спросил я.

— Что ты! — замахала руками бабка. — На всю Москву слыхать. Ансамбль, а не петух.

— А шпоры-то! — изумился Юра. — Он у вас не кавалерист, случаем?

— Бедовый! — подтвердила бабка. — Сейчас бы подрался, да не с кем.

— Что ж продаете такого молодца?

— Так ведь, батюшка, ломают нас. В башню переселяют, на шестнадцатый этаж. Куда ж его? Балкона и того нету. Вот и Маруську тоже. Может, и ее возьмете? Такая умная кошечка, прямо…

— Нет, — отказался я. — Заберите ее в башню. Кошкам балкон не обязателен.

А петуха мы купили. Он важно стоял, выпятив вороненую грудь, и смотрел, как Ксантиппа, выкидывая искалеченную куницей ногу, маршировала перед ним по балкону.

— Генеральский смотр! — засмеялся Юра.

— Ну нет, — возразил я. — У нас в подъезде живет отставной генерал. Это скромный человек в вязаной шапочке, совсем не бравого вида. Летом он сидит по вечерам на лавочке, читает лифтершам газеты. Только раз в году, Девятого мая, он надевает форму с орденами и уходит на Праздник Победы. А этот, смотри — фельдмаршал, не меньше!

— Ну, тогда Ганнибал! — вспомнил Юра. — Самый знаменитый полководец древности. Гроза

римлян. Звучит-то как: Ган-ни-бал!

Так петух стал Ганнибалом. Он принялся исправно отбивать зорю и воевать с нагловатыми голубями, воровавшими корм в курином корытце.

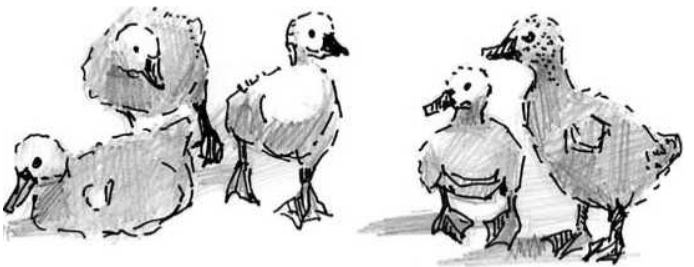
Кот Диан тоже привык к городу. Целыми днями он спит в старом кресле, а по вечерам отправляется гулять. Он сидит во дворе на пустой спортплощадке в окружении кошек и, вероятно, хвастается победами над куницей.



Рассказы о животных



Гога и Глаша



Однажды мама принесла с рынка живого гуся. Он предназначался для праздничного стола. Но оказалось, что это не гусь, а гусыня.

— Конечно, гусь с яблоками — это очень вкусно… — вздохнула мама. — Но я, пока несла его с базара, успела к нему привыкнуть… Я не могу представить его на столе. К тому же это гусыня. А такого кушанья — «гусыня с яблоками» — нет ни в одной поваренной книге…

И гусыня Глаша осталась жить на нашем дворе вместе с курами. Она разгуливала среди них и строго погогатывала. Но с курами ей было скучно. Глаша сама нашла дорогу на пруд и там плавала в компании с другими гусями.

Через несколько дней вместе с Глашей пришел большой светло-серый гусь. Над его красным клювом красовался на лбу большой нарост, а лапы были ярко-оранжевые, будто вырезанные из морковки. Я хотел прогнать его, но гусь не уходил. Мама, подметавшая в сенцах, вышла на крыльцо и стала помогать мне веником, но и это не испугало гуся. Глаша взволнованно покрикивала на дворе, и чужак упорно пытался пройти в калитку.

— Ну ладно, — решила мама, — пусть переночует, а завтра разберемся.

Но ни завтра, ни послезавтра разобраться не удалось. Ни у кого из соседей гусаки не пропадали. Целы были гуси и на совхозной птицеферме. Новый Глашин приятель будто с неба свалился!

— Что же делать, пусть поживет, — уступила Глаше мама. — Может, объявится когда-нибудь хозяин…

Гусака назвали Гога. Глаша и Гога очень подружились. Всегда и всюду были они вместе. Гога ухаживал за Глашей и своим горбоносым клювом оглаживал ей на шее перышки.

Но вот Глаша исчезла. Гога тоскливо бродил по двору один. Я обнаружил гусыню в дровянике. Она разгребла в углу мусор, сделала ямку и снесла

в нее большое белое яйцо.

— Неудачное ты выбрала место, — упрекнула мама гусыню. — Здесь колют дрова, может осыпаться поленница.

Было решено поместить Глашу в сенцах. В угол между ларем и кадкой с капустой я затиснул старую бельевую корзину и набил ее сеном. Туда мы переселили нашу гусыню. Я впереди нес яйцо. Мама тащила Глашу. За нами косолапой припрыжкой поспевал Гога. Он возмущенно шипел и целился ущипнуть мамину ногу. В корзине Глаша потопталась, уминая по-своему сено, и, сев, прикрыла собой яйцо. И тут же принялась выщипывать у себя на груди пух, подтыкать его под себя. Это означало, что гнездо ей понравилось и переезжать еще куда-либо она не собирается.

Если кто-нибудь шел через сенцы или брал в кадке капусту, Глаша вытягивала из корзины шею и по-змеиному шипела. А Гога то и дело торчал теперь на крыльце. Он переговаривался с Глашей через дверь.

— Хозяева! — стучала в окно почтальонша. — Возьмите почту! Ваш гусак не пускает, щиплется. Ну прямо как собака. Один чулок уже распустил!

Мама восхищалась Гогиной верностью и шугала его с крыльца веником.

Глаша ненадолго выходила погулять. В гнезде у нее уже было шесть яиц. Прежде чем покинуть корзину, она прикрывала их сеном и пухом. Сильно отощавшая, с ободранной грудью, Глаша выглядела жалкой. Но Гога встречал ее радостно. Он тянул к ней шею, касался клювом и укладывал взъерошенные перышки.

А через три недели у Глаши появились гусята. Гусыня потеряла покой. Она все время поправляла что-то в гнезде, подтыкала сено и выбрасывала из корзины яичные скорлупки.

Гусят было пять. Из шестого яйца никто не вывелся. Оно усохло и, если его крутили, кособоко болталось на столе.

— Шестое яйцо оказалось «болтуном», — сказала мама.

Она сварила «болтуна» вкрутую и покрошила его гусятам.

В один прекрасный день Глаша решила вывести гусят на улицу. Он действительно был прекрасным, этот весенний день, — теплым и солнечным. На березе возле скворечни насвистывал, прихлопывал крылышками скворец. Редкая крупная капель летела с крыши. Гога стоял в луже, синей от ее ледяного дна, и слушал, что происходит в сенцах. Дверь отворилась, и на

крыльце появилась Глаша. Около нее суетились, попискивали желтые пушистые гусята. Гусак увидел семейство, высоко вскинул голову и восторженно затрубил. Соскакивая со ступеньки на ступеньку, кувыркаясь, смелые гусята вслед за Глашей сами спускались с крыльца. Гога трубил и плясал от счастья. Широкие и косолапые, морковные лапы смешно шлепали в синей луже. На Гогу летели капли — крупные, сверкавшие на солнце.

Люди на улице остановились и с улыбкой смотрели на гусака. А он все плясал, топтался, переваливался в луже под капелью и трубил, трубил о своей радости.

— Ну нет, — сказала мама, — если и найдется теперь Гогин хозяин, ни за что его не отдам. Пусть что хочет возьмет, только оставит нам такую красивую птицу.

Дятел

Дятел появился около нашей дачи осенью, когда облетели деревья и в садах зарделась рябина. Принимаясь стучать, он будил меня ранним утром. Я вставал, накидывал на плечи что-нибудь теплое и выходил на балкон. В тихих соснах висел холодным паром туман, где-то лаяли продрогшие к утру собаки.

Дятел работал на одной и той же сосне, начавшей сохнуть, неподалеку от балкона. Заметив меня, он застывал с откинутой для удара головой, косил глазом и думал, вероятно: «Появился человек; каковы его намерения?» Изучив меня и убедившись, что я не собираюсь причинить ему вреда, он продолжал работать.

Излечение старой сосны дятел начал сверху. Энергичный, бодрый, деловой, он то споро крутился вокруг ствола и легкими, быстрыми ударами простукивал на пробу кору, склоняя набок голову и всматриваясь в трещины и извилины сосновой коры — точь-в-точь доктор, склонившийся к больному с трубкой, — то ожесточенно, с раздражением долбил одно и то же место, расширяя, разрабатывая обнаруженный

очаг болезни, сосновой сухоты, и сетуя на ее запущенность. От резких ударов дятла сосны вокруг зябко вздрагивали, принужденно рождали эхо и роняли сухие растопорщенные шишки. С ветвей сосен стекал влажный туман и жался к земле, доцветающей последними астрами.

Я тоже брал свои тетрадки, усаживался на балконе в плетеное дырявое кресло, и мы вместе с дятлом трудились до той поры, пока не поднималось из-за дач по-осеннему позднее, заспанное солнце. Тогда просыпались, начинали ходить люди, мне стучали снизу лыжной палкой, приглашая к чаю, и дятел улетал: вероятно, были другие, нуждавшиеся в его работе сосны.

А может быть, он улетал отдыхать? Только видел ли кто-нибудь отдыхающего, праздно сидящего дятла?

Так прошло несколько дней. Мы привыкли друг к другу. С первыми ударами дятла я вставал и выходил к нему, и он не настораживался более и лишь останавливался на мгновение, чтобы кинуть: «Привет, дружище! Ну как, поработаем?»

С каждым днем дятел спускался по стволу все ниже и ниже. Жуки-короеды и древоточцы, заслышав его звонко раздававшиеся удары, поспешно бежали вниз и затаивались в своих

ходах-лабиринтах. Дятел настойчиво преследовал их, изгоняя к комлю. Он вскрывал потайные ходы, оббивал заскорузлую мертвую кору, она осыпалась и тонким слоем покрывала землю.

Однажды на стук дятла прилетел поползень — суетливый толстячок в сером куцем мундире. Он побегал по сосне вокруг работавшего дятла, попытался протиснуть тонкий носик-пинцет в жилища древоточцев и, отступившись от толстой коры старого дерева, улетел поискать что-нибудь подоступнее.

Прилетели две синички, с темными лукавыми глазками, с напудренными щечками, всегда вспоминающие о человечьем жилье с наступлением холодов, попрыгали, повертелись на соседней яблоне. Отметив, что дятел не обращает на них внимания, они присмирели, стали вслух удивляться: «Так себя не беречь? Так работать — что же от него останется?!»

Через несколько дней дятел заканчивал лечение сосны. Он увлеченно трудился у самой земли, разбивая на комле толстые наросты коры.

Вдруг в саду раздался резкий, никогда не слыханный мною ранее крик, пронзительное верещание, исполненное боли и ужаса. В повядших флоксах около забора металась кошка, разыски-

вая знакомую дыру на соседский участок. В ее зубах бился и кричал дятел. Кошка воровато оглядывалась, как уличенный на рынке воришка, и жмурилась от взмахов птичьего крыла.

Я бросил в кошку первым, что попалось под руку — это была сломанная детская тачка, — и отбил птицу.

Взяв в руки дятла, я припомнил разговор синичек: «Что же от него останется?» — таким он был неожиданно легоньким и сухим, этот дятел, и только голова с крепким клювом была у него крупная и тяжелая — голова-инструмент.



А еще я вспомнил вдруг Юру Кареева, с которым учился когда-то в одном классе. Был он тщедушным и большеголовым, с большими толстыми очками на остром носу. Юра был необыкновенно трудолюбив и усидчив, и не было такого в школьной программе, чего бы он не знал досконально. Он никогда не отказывался помочь решить трудную задачу, рассказать непонятный урок, но мы, мальчишки, исповедовавшие в то время культ силы, не ценили этой помощи, хотя и пользовались ею. По имени Юрку звали редко — его звали «Дятлом», «Академиком», а позднее — «Синусом». Однажды, припрятав на всякий случай очки, ему на перемене подменили бутерброд с маслом куском хлеба, намазанным пластилином. Перелистывая на парте книгу, Юрка под общий смех класса откусил от ломтя. Когда я отдавал ему очки, то впервые увидел, какие у него необыкновенно добрые — без очков — умные глаза; в них молчаливо стояли слезы, и мне на всю жизнь стало стыдно.

Кошка прокусила дятлу бок и сломала крыло. С помощью маленького Андрея, приходившего к нам в гости с дачи напротив, я осторожно его перевязал. Дятлу, наверное, было очень больно, но он терпеливо снес перевязку, и только молоч-

но-белая пленка, как шторка, задергивала ему глаза, когда боль становилась особенно сильной.

И опять я вспомнил Юрку. Как-то к нам в класс, прервав урок, пришли женщина-врач и две медсестры, внушая страх белыми халатами, сверкавшим никелем биксов[13] и пламенем спиртовки. Когда нам объявили, что уколы будут делать «по партам», мальчишки — многие из них были признанные силачи — перебежали на «Камчатку», пряча под неестественным оживлением, неискренними улыбками и наигранным ужасом постыдную, но неодолимую боязнь уколов.

Юра-Дятел сидел всегда за первой партой. Он молча встал и, смущенно улыбаясь, подставил спину. И мы поняли после этого — не говоря о том, впрочем, вслух, — что у Юрки есть какая-то своя смелость и своя сила, имевшая нечто общее с его способностью усидчиво, серьезно заниматься.

Дятла мы поместили в комнатке мезонина, пустовавшей каждую зиму до той поры, когда дача оживала и становилась многолюдной, когда у крыльца буйно цвели георгины, а к вечернему чаю залетали на огонь мотыльки, тукались о лампу и падали в варенье. В пустой комнате дя-

[13] Примечания: 13

Бикс — емкость для стерильных медицинских инструментов и перевязочных материалов.

тел тотчас поскакал в угол и забился под газеты и картонки.

Где было наловить тех жучков-вредителей и их личинок, которыми питаются дятлы? Мы с Андреем ободрали кору со всех поленьев в дровянике и с бревна, заготовленного под телефонный столб, но так ничего и не нашли. Видно, лучше самого дятла никто этого делать не умеет. Два дня мы насильно кормили его толстыми земляными червями. Дятел покорно глотал затолкнутую в клюв незнакомую пищу, но состояние его от этого не улучшалось: он был грустен, и безысходная обреченность стояла в темных его глазах.

На третий день я обнаружил дятла лежащим на спине с задранными вверх большепалыми цепкими лапами, с бессильно откинутой большой, тяжелой головой.

Мы с маленьким Андреем похоронили его в саду с почестями, полагающимися каждому честному труженику.

По привычке я продолжал вставать на рассвете. Потела настывшая за ночь земля, в знобком тумане дремали старухи сосны.

Иногда на соседском участке, где жил на пенсии одинокий старый актер, окруживший себя бездельницами кошками и вздорными соба-

чонками, я видел знакомую кошку, поймавшую дятла. Мягкой походкой тигра неслышно ходила она по дорожкам и ложилась, найдя на земле теплый солнечный зайчик. Кончик ее хвоста лениво изгибался. Лежа на боку, кошка смотрела, приподняв голову, на свой хвост и щурилась на солнце.

Я вспоминал приятеля-дятла, усаживался за работу.

В саду было тихо. Так тихо, что слышно было, как опадают в безветрии, задевая за сучья, последние листья яблонь.

Ласточка уходит на фронт

Это было в войну. Я жил в селе и учился в пятом классе. Окна нашей школы были крест-накрест заклеены бумажными полосками, чтобы в случае близкого разрыва бомбы осколки стекол не разлетелись и не поранили людей. Увозя от фашистов добро, угоняя скот, через село шли на восток пешком, ехали на лошадях беженцы. Днем и ночью мимо нашей станции проходили на фронт эшелоны с боеприпасами, танками и пушками, а навстречу им двигались за Волгу и в Сибирь составы, груженные станками эвакуировавшихся заводов.

В селе часто останавливались на отдых или формирование воинские части. Командиры и красноармейцы зимой вставали на постой по дворам, а летом жили в лесу, где у них были вырыты землянки, дымились походные кухни на высоких колесах, тянулись по соснам провода полевых телефонов и был полигон, на котором учились стрелять молодые бойцы.

Однажды, когда стоявшая в лесу воинская часть снялась и отправилась на фронт, я пошел на покинутый полигон. Там я набрал много стреляных

гильз, наковырял в песке за мишенями целый карман расплющенных пуль и направился лесом домой.

И тут я увидел лошадь. Она неподвижно стояла в кустах, понурив голову. Лошадь была гнедой масти, с белой проточиной на лбу, высокая и очень худая, с выпиравшими ребрами и мослаками крупа. От нее остро пахло нечищеной шерстью и каким-то особенно неприятным, тошнотворным запахом загноившегося тела. Множество мух, к которым она, по-видимому, привыкла и не отгоняла их, липли к ее слезившимся глазам, жужжали и кружились около ног.

Я подошел к ней и протянул руку, чтобы погладить щеку. Лошадь дернула головой и отпрянула, тяжело переступив обеими передними ногами сразу, точно вытаскивая их из топкого болота. И я заметил, что у нее болят ноги. Бабки ног были отекшими, а под щетками около копыт мокли и гноились. На лошади не было ни уздечки, ни недоуздка. Ясно было, что эта лошадь была ничейной. Кто бросил ее здесь, в лесу, больную, на медленное умирание? Вероятно, она была оставлена беженцами, потому что пехотная часть, которая стояла в лесу, лошадей — насколько мне было известно — не держала.

Я отломил ей кусочек хлеба, который прихватил с собой в лес. Лошадь обнюхала протянутую руку и, щекоча мне ладонь мягкими губами, подобрала хлеб. Я дал ей еще кусочек. Лошадь потянулась за ладонью и с трудом переступила мне вслед.

И тогда я решил взять лошадь домой. Из брючного ремешка я сделал подобие недоуздка, обуздал ее и повел. Каждый шаг причинял лошади боль, она упиралась и отказывалась идти, словно бы упрашивая оставить ее в покое. Я уговаривал, заманивал хлебом и подгонял ее прутиком. Через каждые пятнадцать — двадцать шагов мы останавливались передохнуть, я как мог ободрял ее, поглаживал ей щеку и пыльную шею с рубцами старой, заросшей шерстью, выжженной метки-тавра. Второе такое же тавро стояло у нее на левой задней ноге.

До села идти было недалеко, но мы пришли домой, когда день уже клонился к вечеру. Увидев во дворе лошадь, мать удивилась и огорчилась: до лошади ли было тогда, в то тяжелое военное время!

Но лошадь все-таки оставили во дворе, чтобы решить ее судьбу наутро. Я разобрал в пустовавшем курятнике насест и с трудом в этот тесный

сарайчик задвинул задним ходом, как автомобиль, нашу лошадь.

На следующий день к нам пришел совхозный ветеринарный фельдшер Евстигней Васильевич. Лошадь, уже привыкшая ко мне, встретила фельдшера настороженно, пятилась и прижимала уши, когда тот особенно бесцеремонно поднимал за щетку ее ногу и рассматривал через очки больные места.

— Спета ее песенка, — сказал, причмокнув, Евстигней Васильевич. — Болезнь эта страшная и очень заразная, на совхозную конюшню ее ставить ни в коем случае нельзя. Да и кому такой одер сейчас нужен? — добавил он, вытирая ладони сеном. — Теперь и за справной-то скотиной ходить некому. В общем, одна ей дорога — под обух, чтобы не мучилась... — вздохнул фельдшер.

Так лошадь осталась у нас. Старое тавро у нее на шее смахивало на крылья, и мы назвали ее Ласточкой. Хотя, по правде сказать, это имя, напоминавшее неутомимую летунью, весело щебечущую у лепного гнезда, не очень-то подходило больной и истощенной, неподвижной лошади.

Переход из леса обошелся ей, по-видимому, нелегко. И в первый и во второй вечер, когда я

перед сном заглядывал к ней в сарай, лошадь тяжело дышала и порой протяжно, страшно стонала.

Теперь я частенько бегал к Евстигнею Васильевичу в его лечебницу. Там в белых стеклянных шкафах стояло множество разных пузырьков с непонятными надписями на латинском языке, резко пахло смесью запахов многих лекарств. Я с интересом наблюдал, как фельдшер стирал в фарфоровой ступке какую-нибудь мазь или, приложив ухо к шерстистому боку, выслушивал корову, косившую на него напуганным лиловым, с красными жилками глазом. Я упрашивал Евстигнея Васильевича зайти после работы посмотреть лошадь. Мне так хотелось вылечить нашу Ласточку! Наученный фельдшером, я ежедневно промывал гноившиеся места раствором марганцовки, мазал вонючей мазью и бинтовал бабки ног. Заодно я подлечивал и старые ссадины от хомута и седёлки. Лошадь передергивала кожей, точно ее жалил овод. Промывание причиняло ей боль, но она терпела, а когда боль становилась особенно резкой, переступала, тыкалась мне в спину мордой и легонько прихватывала губами плечо.

Время шло, а состояние ее почти не менялось.

Видно, действительно очень запущена была ее болезнь. Хорошо, что она хоть ела, аппетит ее улучшался, и это вселяло надежду.

Пришла зима. Стало труднее с кормом для Ласточки. Сена у нас было заготовлено только для нашей коровы Марты, никто ведь не мог рассчитывать на такое прибавление в хозяйстве! Я уходил на лыжах в поля, находил остожья брошенных ометов, дергал из-под снега остатки сена или соломы и вязанками привозил домой. За обедом я припрятывал кусочки хлеба, чтобы скормить их потом Ласточке.

Мама, которая сначала неодобрительно относилась к моим хлопотам по лечению лошади, теперь нет-нет да тоже собирала что-нибудь и готовила для нее вкусное. Она сходила в контору совхоза и получила разрешение собрать в пустых закромах склада оставшийся овес. Над разостланной в кухне простыней мы отвеяли овес от мусора и давали его Ласточке.

Как-то снова зашел Евстигней Васильевич, давно у нас не бывавший, осмотрел Ласточку и сказал, что в болезни лошади наступил перелом и дела несомненно пошли на поправку. Я чувствовал это и сам по настроению Ласточки. Заслышав мои шаги, она встречала меня ра-

достным ржанием, тыкалась губами в руки и карманы, отыскивая привычное угощение. Я нес ей от колодца воду. Приятно было видеть, как она пьет, аккуратно вытянув губы, как бегут у нее по горлу глотки воды. Переводя дух, она поднимала голову, всхрапывала, с ее бархатных губ падали в ведро прозрачные капли. Подражая совхозным конюхам, я тихонечко посвистывал, уговаривая ее допить. Передохнув, Ласточка опять опускала голову в ведро и допивала до конца. Я приносил из кухни табуретку, взбирался на нее и чистил лошадь скребницей и щеткой.

Ласточка все еще была худа, но шерсть у нее уже не топорщилась и стала блестеть. Чувствуя себя все лучше, лошадь топталась в тесном сарайчике, толкала меня головой и просилась на улицу. По совету Евстигнея Васильевича я каждый день выводил Ласточку на разминку, чтобы она могла потренировать ослабшие во время длительной болезни ноги. Затем, когда лошадь еще более окрепла, я решил ездить на ней в поле за сеном. Для этого я сделал из старых ремней шлею с длинными веревками, держась за которые можно было ехать за лошадью на лыжах, — я видел однажды, как это делали красноармейцы-конники. Случалось, что лыжи запинались в

санных колеях, и я падал в снег, тотчас отпуская веревки-вожжи, чтобы не волочиться на них за лошадью. Почувствовав полегчавшие вожжи, Ласточка останавливалась и ждала, снисходительно поглядывая на меня, пока я поднимался и нагонял ее. Надергав из-под снега слежавшегося сена, я вьючил на лошадь две вязанки. Разве я мог бы привезти так много сена, как привозила теперь Ласточка?

С наступлением тепла мне захотелось попробовать поездить верхом. Я подвел лошадь к скамейке, что стояла у калитки, и вскарабкался ей на холку. Ласточка удивленно попятилась, оглядываясь и стараясь прихватить губами мои болтавшиеся ноги, потопталась и послушно вынесла меня за околицу, в поле. Вероятно, Ласточке доводилось ходить «под верхом», и она, вспомнив это, успокоилась. Шагом было ехать хорошо, но как только лошадь переходила на рысь, я без седла и стремян никак не мог приноровиться к ее движению, меня трясло, и я изо всех сил сжимал ногами бока, чтобы не свалиться. Впрочем, я скоро научился довольно сносно ездить и уже не боялся пускать лошадь не только рысью, но и галопом.

Многое открылось мне во время таких поездок

и стало доступным! Я забирался так далеко, как никогда не ходил ни пешком, ни на лыжах, легко преодолевал вброд залитые полой водой овражки и весенние лужи. Вытаивала и оживала земля, теплым, струившимся паром дышали поля, в них ходили черные и важные грачи, а по глубоким межам бежали бойкие, искрящиеся солнечными зайчиками ручьи. С каждым днем в лесу и полях появлялось больше птиц, все зеленее становилась степь.

Приятно было, подставив лицо и грудь теплому, парному дыханию земли, объезжать знакомые места, отмечать наступавшие в них перемены!

А как весело было, пустив лошадь галопом, промчаться летом встречь ветру степью! Ветер свистел в ушах, бился в пузыре рубахи за спиною, я еле успевал заметить, как из-под самых ног выпархивали жаворонки и отлетали напрочь сбитые копытами головки цветов. Скорость увлекала и Ласточку, она дергала головой, просила отпустить поводья и сама наддавала ходу, пофыркивая на скаку, и в лицо мне долетали росинки ее храпа.

Из ржавого обруча старой кадушки я сделал себе «шашку». Восторженно врывался я в заросли репейника и, представляя себя в окружении вра-

гов, налево и направо рубил их колючие головы. «Врагов» было много, они «наседали», но я рубил и рубил, пока не уставала рука, и выходил неизменно победителем.

В степи я выпускал лошадь попастись. Освободив ее рот от удил, подвязав к уздечке длинный повод-чембур[14], я наматывал его конец на руку и заваливался в траву. Ласточка похрустывала сочной травой, мотала головой и обмахивалась хвостом от надоедавших мух и слепней.

Великое множество всяких жучков, козявок и паучков, каких-то пестрых клопов возилось и ползало в зеленом травяном мире, взбиралось по стебелькам и снова падало в траву. Из-под волочившегося по земле чембура выпрыгивали кузнечики и садились мне на грудь. Скосив глаза, я видел совсем близко их удивленно шевелившиеся усики, их высоко поднятые, зубчатые ноги. Посидев, ощутимо оттолкнувшись, они «стреляли» прочь в траву.

Высокое, слепящее ясной голубизной и матовым светом облаков, стояло надо мною небо. Пышные облака причудливо громоздились, образуя башни и фигуры диковинных животных.

---

[14] Примечания: 14

Чембу́р — длинный повод, за который привязывают или на котором водят лошадь *(тюрк.).*

Высоко в небе плавал кругами, распластав широкие крылья, возносясь в теплых воздушных потоках, степной подорлик. Летали, купаясь в солнечных лучах, ласточки; словно бы подвешенные на ниточках своих журчащих песен, заливались жаворонки…

Неужели такие же безмятежные облака стояли сейчас там, где грохотали пушки, горели хлеба и деревни, страдали от ран люди, где был сейчас и мой отец, и отцы моих школьных друзей? Мысль о том, что недалеко от наших мест идет война, никак не вязалась с ощущением покоя степного раздолья и бездонного неба.

Иногда я засыпал, лежа в траве. Просыпался я от глухих близких ударов копыта, отдававшихся в земле. Это Ласточка время от времени отгоняла липнувших слепней. Наевшись, она подходила и подрёмывала надо мной, отвесив губу в зеленой травяной заеди.

Что-то неуловимо менялось во время сна в окружавшем меня мире. Приглядевшись, я отмечал, как изменились, стали другими облака, переместилось к западу солнце, и от этого становилось другим и освещение степи.

Теплыми летними вечерами мы вместе купались. Пруд, на котором весь день стоял гомон

возившихся ребятишек, к вечеру затихал. Только кое-где тихо купался кто-нибудь из взрослых, оттуда через пруд докатывались слабые волны, в которых качались отражения нависших над водою вётел и светлого закатного неба.

Я въезжал в пруд верхом. Когда вода достигала спины лошади, я сваливался набок и держался рядом с Ласточкой, ухватившись одной рукой за гриву. Похрапывая, она плыла легко и быстро, я не мог догнать ее, если пытался плыть сам, не держась за лошадь. Мы переправлялись на противоположный берег. Ласточка чувствовала под ногой дно и, торопясь и разбрызгивая воду, с облегчением выбиралась на сухое. Успев еще в воде сесть верхом, я чувствовал, как напрягается спина лошади, когда она выкарабкивалась на обрывистый бережок.

Так прошла половина лета. Ласточка за время каникул так привыкла ко мне, что иногда ходила за мной вслед без повода, как собачонка.

Однажды я заметил на площади недалеко от железнодорожной станции непонятное оживление. Около длинной коновязи было привязано много лошадей. Других лошадей держали в поводу конюхи-женщины, подменившие ушедших на фронт мужчин. В тени старых вязов стоял

стол, за которым сидели какой-то калмыковатый, с огромными усами военный, мой знакомый фельдшер Евстигней Васильевич и секретарь сельсовета Полина. К столу подводили лошадей. Евстигней Васильевич и военный осматривали каждую лошадь, что-то говорили Полине, а она записывала это в толстую амбарную книгу. Я догадался, что происходила очередная мобилизация в армию лошадей из совхоза и окрестных колхозов.

На военном были щеголеватые сапоги со шпорами, кавалерийские галифе с нашитыми на них кожаными леями[15] для седла, новенькая портупея с подвешенной сбоку саблей. На синих петлицах его гимнастерки поблескивали две «шпалы» и эмблемы кавалерии: подкова с перекрещенными на ней шашками. Ясно было, что этот командир — старый кавалерист. Он был похож на самого маршала Буденного, а может быть, даже служил когда-нибудь в его легендарной Первой Конной. Но самое замечательное — это, конечно, была его сабля! Ее ножны и тонкий изящный эфес покрывала узорная серебряная чеканка, на ножнах поблескивала какая-то над-

[15] Примечания: 15

Ле́и — нашивки из кожи или плотной ткани на кавалерийских брюках в местах, соприкасающихся с седлом (*фр.*).

пись. Вот бы промчаться на Ласточке степью с такой саблей!

У меня созрело решение. Я побежал домой и привел Ласточку. Наконец-то и я могу быть чем-то полезен фронту!

— А это что еще за фокусник? — спросил удивленный командир-кавалерист, когда увидел, как Ласточка сама, без привязи, подошла вслед за мной к столу.

— Чья эта лошадь?

— Это моя, — сказал я, — ее зовут Ласточка.

— Я спрашиваю: кому она принадлежит, какому колхозу? — допытывался военный.

— Он подобрал ее в лесу, больную и брошенную, и выходил, — пояснил, улыбаясь, Евстигней Васильевич. — Этот хлопец мне хорошо знаком.

Военный обошел Ласточку, заглянул ей в зубы и похлопал по шее небольшой смуглой рукой.

— Ну что ж, коняга добрая! — заключил он. — Возьмем! А ты, парень, молодец! Спасибо тебе от нашей красной кавалерии!

Ах, если бы он знал, как я был счастлив! Но я смешался, не знал, что сказать, и ответил только:

— Не за что… Вам спасибо.

А Евстигней Васильевич добавил:

— Отец у него на фронте. Тоже большой любитель лошадей. И воюет в конной артиллерии.

— Вот и хорошо! — сказал военный. Он вернулся к столу и распорядился: — Запишите эту Ласточку в конно-артиллерийский полк!

Полина сделала в толстой книге запись и выдала мне справку — такую же, как и колхозам. А командир пожал мне руку своей небольшой крепкой рукой и еще раз одобрил:

— Очень хорошо, что коня любишь! Молодец! — И он, скосив глаза себе на грудь, вдруг вывинтил значок, прикрепленный на кармане гимнастерки, и протянул его мне: — Возьми. Это тебе на память.

Свой собственный боевой значок! Он был очень красив: темного серебра подкова с дырочками для гвоздей, перекрещенные на ней шашка и винтовка, и на всем этом — красная, лучащаяся яркой эмалью звездочка.

Так Ласточка была зачислена на военную службу.

На следующий день я пришел на станцию провожать Ласточку. Два немолодых красноармейца, похожие на знакомых совхозных конюхов, только в форме, заводили лошадей в вагоны по дощатому помосту. Лошади упирались, страшась

вагонной темноты, а затем, словно бы решившись, сразу рысили в вагон, приседая и грохоча досками помоста.

Я принес Ласточке на прощание ломоть черного хлеба, посыпанный солью, — всю мою дневную пайку.

До свидания, Ласточка! Счастливой тебе службы!

Волчик, Волченька

I

Волчонка поймали совхозные рабочие, ездившие в лес за хворостом. Заинтересовавшись, откуда так «душно» пахнет, они нашли в болоте, среди густых тальников и сухого тростника, звериное логово. На упругом зеленом мху подле логова были видны следы звериных лап, валялись перья и объеденные кости, запах которых привлек людей. Рабочие извлекли из норы упиравшегося щенка и стали рассматривать, гадая, волчьей или лисьей он породы. Определив, что это волчонок, они решили привезти его напоказ живым и, наслышанные о мести волчицы, опасливо оглядываясь, поспешно выбрались из сухого болота.

В совхозе о волчонке в тот же день узнал директор и решил его взять себе. Однако жена директора рассудила иначе, и волчонок был предложен нам.

Жили мы в то время в Зауралье, в небольшом совхозе, где работал мой отец. Совхоз располагался двумя заимками по берегам открытого,

просторного озера. Сразу же за домами начинался светлый березовый лес. Он принимался зеленеть весной всегда неожиданно, в одну ночь, и утром было радостно увидеть вдруг зеленую дымку там, где еще вчера мертво сквозили голые ветви берез. В эту пору по ночам над нашим домом шли одна за другой утиные стаи, а утром прямо с крыльца было слышно, как токуют, бормочут в лесу тетерева-косачи.

Целыми днями пропадал я в лесу, стараясь подслушать, подсмотреть скрытную жизнь его обитателей.

Как я обрадовался, узнав о волчонке!

Дом директора стоял на другой стороне озера. Я отправился за волчонком на лодке. На обратном пути я не сводил с него глаз. Волчонок оказался совсем еще маленьким, с детскую рукавичку, с тяжелой лобастой головой, которую ему было трудно держать на весу. Его покрывала не шерсть, а какая-то серо-желтая подпушь, неопрятная, точно тронутая паршой, с редкими, более длинными волосиками. Волчонок, вероятно, лишь недавно прозрел, да и то не совсем: глаза его были подслеповаты, будто прорезались не до конца, в них стояла еще голубовато-молочная тусклая муть. Он карабкался, путался в разостланном на

дне лодки старом ватнике и дрожал от холода и пережитого за день.

Я принес волчонка домой и положил посредине кухни на полу. Он попытался подняться на ноги, с напряжением удерживая голову, она мотала его тельце, это заставляло его, чтоб сохранить равновесие, переступать передними лапами. И тут наша кошка Лаврушка, дремавшая на плечике русской печи, вдруг прыгнула сверху на волчонка и, крича утробным, не своим голосом, начала драть его прямыми передними лапами. Успев за время нашего знакомства проникнуться к волчонку горячей жалостью, я кинулся к нему на помощь, оторвал кошку, наподдал ей в сердцах и выбросил за дверь. После этого Лаврушка домой не вернулась. Ее трехнедельный сын Пестерюшка остался сиротой. Причины исчезновения кошки мы тогда так и не выяснили. Неужели она, оскорбленная в материнском чувстве, обиделась настолько, что ушла, бросив и дом, и котенка?

Перед нами встала задача, чем и как кормить нашего приемыша. Мы тыкали его в блюдечко с молоком, пытались научить пить с пальца, как припаивают новорожденных телят, но волчонок только облизывал мокрый от молока нос и не понимал, что от него хотят. Пришлось, прибегнув

к силе, разжать ему рот и осторожно сливать молоко через край. Так волчонок и привык пить, как человек, через край блюдца. Позднее, став побольше, он брал блюдце в зубы и ставил его перед людьми, давая понять, что время кормёжки подошло и посуду пора наполнить.

В молоко для волчонка мать обычно добавляла несколько капель витамина «Д», предупреждавшего рахит и способствовавшего росту. Волчонок очень быстро усвоил, что его еда связана с этим пузырьком, стоявшим на холодном подоконнике. Заслышав глухой звук ручки подойника, наполненного пенистым парным молоком, он бежал теперь к окну с пузырьком витамина «Д», нетерпеливо приглашая следовать за ним, посматривая снизу вверх широко расставленными, грустными, еще хранившими лиловатый отблеск глазами.

На семейном совете мы долго обсуждали, какое имя дать волчонку, и решили назвать его просто Волком. Нам хотелось этим как-то скрыть его происхождение от людей, чье любопытство могло причинить вред ему и излишние хлопоты — нам.

— Скажите, это правда, что у вас живет волк?

— Да, правда, Волк, Волчик, иди сюда, иди ко

мне!

— Так это просто имя такое — Волк?

— Ну конечно же, имя, всего-навсего имя!

Волчонок очень скоро привык к своему имени и отлично понимал интонацию голоса и настроение людей, когда они называли его ласково Волчком, Волченькой, Волчишкой.

Он очень подружился с осиротевшим Пестерюшкой. Они вместе спали, свернувшись клубочком, греясь теплом друг от друга, и вместе ели: Волк пил молоко через край, Пестерюшка чистенько лакал сверху. Целыми днями они барахтались и возились на полу и разыгрывали сцены охоты, затаиваясь и нападая один на другого, носясь из одной комнаты в другую, натыкаясь на косяки и попадая под ноги людям.

Было очень забавно наблюдать возню наших зверят, столь различных по наследственным привычкам. Лишенные гнезда и родителей, они были детенышами одной матери — природы.

Но с возрастом у Волка отчетливее стал проявляться инстинкт зверя-охотника. Игра в охоту становилась все более азартной. Подстерегая Пестерюшку, волчонок кидался на него, сбивал грудью, отскакивал и снова наступал, высоко выкидывая прямые передние лапы (кажется, в

школах высшей верховой езды жокеи называют такой шаг лошади «испанским»). Затем он брал котенка в зубы поперек и относил на свою подстилку — «логово». Эти игры становились для Пестерюшки все более несносными. Он спасался от них, вспрыгивая на табурет. Быстро опередивший в росте своего товарища, искавший игр с движением и вознёй, Волк заглядывал к нему, пытаясь достать, приглашая к игре, и эти отлучки Пестерюшки лишь усиливали азарт, с которым Волчик снова набрасывался на котенка, как только тот появлялся на полу. Но в играх Волчик был беззлобен, и котенок, видимо, понимал это, потому что игра их никогда не переходила в драку. Котенок покорно переносил волчьи зубы и, попав в них, беззвучно открывал рот, жалобно прося пощады. Мы были бессильны удержать волчонка от его жестоких игр, он охотился за всем, что двигалось: за веником, которым подметали пол, за ногами людей, ходивших по комнатам. Котенок ходил с шершавыми, обмусоленными Волком боками, он стал грустен, начал хиреть и в конце концов подох.

Эта потеря не очень тронула Волка. Он поскучал немного и теперь чаще искал нашего внимания.

II

К этому времени Волк заметно подрос, покрылся серо-рыжеватой шерстью и стал величиной с небольшую лайку. Непропорционально лобастая голова и большие передние лапы свидетельствовали о том, что со временем это будет крупный зверь.

Он начал шкодить дома: грыз, как все щенки, обувь, рвал половики и однажды стащил со стола скатерть, заинтересовавшую его болтавшимся углом.

Волк не мог спокойно видеть тряпку, которой мыли пол. Неожиданно, из засады, он бросался на нее и вцеплялся зубами; разжать их можно было только силой или хитростью. Можно было поднять тряпку, но он оставался висеть на ней, скосив глаза и выжидая, скоро ли от него отступятся. Он до полусмерти напугал этим женщину, приходившую к нам мыть полы.

В семье появилась тягостная тема разговора: как дальше держать его дома?

Волк привязался к нам, скучал без нас и радовался нашему приходу домой. Прижав уши, он тыкался головой в руки, испрашивая ласку, и довольно повизгивал и урчал. За ним было

интересно наблюдать, отмечая в его поведении и играх звериные, отличные от собачьих привычки. Нам не хотелось лишать его свободы и тяжело было представить сидящим на цепи.

Но квартира становилась тесна Волку. Он искал возможности выбежать на улицу или хотя бы в длинный общий коридор, где жили еще четыре семьи.

Мать предлагала перевести Волчика на жительство в палисадник — ничего другого мы придумать не могли, — но мы с отцом все оттягивали это.

Наконец нам привезли на заказ изготовленную конуру и длинную цепь с ошейником.

Мы поместили Волка в палисаднике под окном, у врытого в землю круглого стола со скамейкой, которые должны были разнообразить унылое пребывание Волка на цепи и давали нам возможность посидеть у него «в гостях».

Лишенный постоянного общения с людьми, Волк на цепи заскучал. Сначала он все время старался освободиться от ненавистного ошейника, беспокойно крутился на привязи, то и дело влезая на стол и вновь спрыгивая вниз, поскуливал и с надеждой посматривал на раскрытое окно, откуда доносились знакомые голоса. Затем, осознав

тщету своих усилий, он свыкся с ошейником, но к цепи так и не привык и тяготился ею.

Оттого, что мы, стараясь возможно облегчить участь Волка, не затягивали туго ошейник, ему не раз удавалось от него освободиться. Почувствовав себя на свободе, он в восторге мчался вокруг дома к крыльцу, совершенно не обращая внимания на тот переполох, который поднимался из-за него на улице и в коридоре, и нетерпеливо царапался в нашу дверь. Дома он стремительно, точно сознавая краткосрочность своего визита, обегал комнаты, торопливо обнюхивал знакомые предметы и, ласкаясь к нам на ходу, метался от одного к другому, не зная, кому отдать предпочтение.

Завидев в коридоре Волка, соседки на кухне тотчас закрывали дверь или, если не успевали этого сделать, старались укрыться хотя бы за громадной русской печью. Дети, которые в это время оказывались на кухне, забирались на длинную лавку у стены и «плясали» на ней, если Волчик, забежав туда, мимоходом обнюхивал их ноги.

Как-то раз он прибежал домой, когда не было ни отца, ни меня. Мать не стала водворять его на цепь и, чтобы не путался под ногами, закрыла его до нашего прихода в столовой.

Вернувшись домой из школы, я заглянул в

стеклянную дверь и не сразу решился открыть ее: диванные подушки и бумаги со стола были на полу, в комнате летал пух, а виновник этого столпотворения сидел на столе, скатерть с которого была также спущена вниз. Прилипшее к губе перышко придавало его морде потешное выражение. Довольный результатами своих проделок, Волчик прислушивался, склонив голову, к шагам за дверью, готовый улыбнуться при появлении хозяев.

III

В полуторамесячном возрасте Волк неожиданно отказался от молочной пищи. Он сделал это вдруг и наотрез. Мы были не подготовлены к смене меню и стали предлагать Волку то же, что ели сами. Но почти все оказалось ему не по вкусу. Хлеб и картошку он не ел совсем и согласился, да и то неохотно, только на мясную похлебку, которую в те полуголодные годы мы сами не часто видели на нашем столе.

«Поголодает — и будет есть все подряд», — подумали мы. Но голодная диета не сломила упрямства Волка. И мы поняли, что эта пища для него была просто несъедобной так же, как, например, сено. Пришлось уступить, ведь это

был волк!

Мы стали давать Волку сырую конину, несмотря на общее мнение, что от такого мяса волчонок одичает. Когда в совхозе подыхала лошадь, я просил отрубить мне падали столько, сколько могло сохраниться летом в погребе.

При виде мяса волчонок преображался. Он нетерпеливо дергал цепь и рвался навстречу, его взгляд был прикован к куску мяса, в глазах появлялся жадный блеск. Прихватив мясо передними лапами, Волк отрывал от него куски и проглатывал, почти не жуя. В это время он никого к себе не подпускал, даже меня, приносившего ему еду. Я пытался воздействовать лаской, пытался в конце концов утвердиться в положении хозяина силой — все было тщетно. Кончилось тем, что он прокусил мне заскорузлый рабочий сапог, не повредив, к счастью, ногу. Как воспитатель я был оскорблен, я не выдержал и жестоко отодрал его. Мне удалось это лишь потому, что он сидел на цепи. Потом я отнял у него мясо. Волк перестал огрызаться, его стало возможно погладить, почесать привычно за ухом. Но все внимание его было обращено к куску мяса, который я отшвырнул ногой, он чувствовал его запах и натягивал цепь. Я вернул ему кусок — и он снова стал зверем.

Наступив на мясо ногой, Волк считал его своей добычей, на которую только он один имеет теперь право, и готов был умереть, отстаивая это право, кто бы на него ни покушался, даже хозяин, кормивший его.

Так было все время, что он жил у нас. Мне пришлось смириться. В этой истории проявилось свойство характера нашего Волчика, столь отличавшее его от большинства собак, — отсутствие какого бы то ни было угодничества, удивительное прямодушие, которое мы затем отмечали в нем не раз и которое не могло не вызывать к нему расположения.

У Волчика была слабость, свойственная почти всем кошкам, — он очень любил валерьянку. Он подходил то с одной, то с другой стороны к накапанной на полу жидкости, жеманился и щурился от резкого ее запаха, затем, когда она, видимо, несколько выдыхалась, осмеливался лизнуть ее и остатки вытирал плечом и шеей — не валялся, как кошка, а «ездил» по полу плечом, стоя на задних ногах. То же самое он делал, обнаружив где-нибудь на дороге раздавленную и затоптанную, подванивающую лягушку или высохшие рыбьи внутренности.

Как собаки и кошки, он выискивал внима-

тельно какие-то особые съедобные травинки и жевал их, скалясь, подворачивая голову, стараясь извлечь запавшую за десну травинку и откашливаясь, когда она прилипала к нёбу.

Однажды — это было в конце лета — Волк опять освободился от ошейника, прибежал домой и тут же обнаружил под кроватью зеленые помидоры, положенные туда доспевать. Он поспешно расшвырял кучу и, отыскав несколько наиболее красных, тут же съел их.

Навестив нас дома в другой раз, он увидел у меня в руках тетеревиные чучела, которые я готовил к охоте. Запах ли убитых птиц, обычно лежавших в сетке-ягдташе вместе с чучелами, или инстинкт, определивший лесную, привычную волкам дичь, — осталось непонятным, что подтолкнуло его, — но Волчик вдруг подпрыгнул, ухватил и стал рвать у меня из рук тряпичного косача. Я поднял чучело, Волк повис на нем, наблюдая за мной, скоро ли я сдамся. Но тут тряпка порвалась, Волк упал, из чучела на него посыпались опилки. Он был заметно сконфужен и потерял к чучелам интерес.

IV

Всех членов нашей семьи Волк выделял среди других людей своей привязанностью. Но к нашим знакомым он относился неодинаково, испытывая симпатию порой к очень редким посетителям и оставаясь при этом равнодушным к соседям, которых он часто видел и мог бы к ним привыкнуть. Даже при встрече во время наших прогулок с людьми, которых он видел впервые, Волчик неожиданно обнаруживал расположение к ним. Особенно радовался он моему однокласснику, приходившему ко мне. Услышав, как мой гость за заборчиком палисадника выводил на разные лады своим тонким и каким-то жалобным голосом: «Волченька, бедненький, Волчик, хорошенький», — Волк начинал крутиться на цепи, поскуливал и просился поласкаться.

Мы долго не могли объяснить эту особенность поведения Волка и поняли наконец, что при прочих равных условиях он выделяет людей по голосам. Ему были приятны высокие и певучие голоса, поэтому он больше симпатизировал женщинам, к которым неожиданно для них вдруг стремился приласкаться, пугал их и от их вскриков становился еще более настойчивым.

Его волновало пение, но особенно — игра на гребёнке. Дребезжащие, ноющие звуки этой импровизированной губной гармошки приводили его в чрезвычайное беспокойство, он испытывал мучительное волнение, клал на грудь передние лапы и тянулся к источнику звуков, затем отбегал в сторону и садился, стараясь быть подчеркнуто равнодушным, но не выдерживал и снова начинал метаться вокруг. В конце концов он усаживался рядом и начинал выть.

Это были душераздирающие концерты!

На домашних животных, с которыми Волку приходилось встречаться, он обычно не обращал большого внимания. Освободившись от цепи, он бежал к крыльцу мимо коровьих стаек и левад. Дремавшие на солнышке коровы тотчас отличали его от собаки, глаза их наливались кровью, они тяжело, грудным голосом мычали, клонили головы и стучали в слеги левад рогами, когда Волк пробегал вблизи. Не останавливаясь, лишь отстраняясь, обеспечивая себе безопасное расстояние, Волк мчался домой.

Без особого интереса он наблюдал, сидя на цепи, за бродившими по палисаднику курами. Наиболее приблизившихся он отгонял, кидаясь с громыханием в их сторону, однако это была

скорее обычная охрана своего участка, нежели охота. Но однажды курица неосторожно подошла к Волку в то время, когда он ел, и жестоко за это поплатилась: Волк бросил мясо, стремительно метнулся к ней, одно движение зубами — и отброшенная несушка с разорванным боком забилась в траве.

Не удостоил вниманием он немецкую овчарку, которую привели к нему в гости. Не поняв, с кем имеет дело, овчарка стала приставать к Волчику, приглашая его к играм. Но занятый предоставленной ему на это время свободой более, чем новой знакомой, Волк в конце концов гневно закашлялся, показал дёсны — и собаку пришлось взять на поводок.

Во время одной из прогулок с Волком я зашел к шорнику-охотнику. Шорная мастерская, просторная и полутемная, была наполнена острыми запахами отмокавшей в чану кожи и дёгтя. Сам шорник сидел у дальнего окошка на низеньком табурете с плетенным из сыромятины сиденьем и прошивал хомут. Не в пример овчарке, его гончая сука Найда, бывшая в мастерской, сразу распознала в пришельце зверя. Поджав хвост и дрожа, она забилась под скамью.

Волчик нашел среди обрезков кожи наиболее

остро пахнувшие кусочки, потерся о них шеей и обследовал мастерскую. В то время, как он пробегáл близко от скамьи, Найда, взъерошенная, в истерической решимости разыгрывала наскоки на Волка, но он, почти не останавливаясь, обнажал в своей страшной улыбке зубы, и собака с жалобным визгом, точно ее огрели камнем, укрывалась под скамьей. Затем, убедившись, видимо, в том, что от хозяина ждать помощи нечего, она кинулась в дверь, открыла ее толчком передних лап и пустилась к дому.

V

К зиме Волчик покрылся густой пушистой шерстью. Ростом он стал с очень крупную немецкую овчарку. Из-за гривы и пышного беловатого седла на холке он казался еще выше.

С наступлением холодов легче стало подолгу сохранять мясо, кормёжка стала регулярной. Волк стал матереть, особая звериная осанистость и стать не позволила бы теперь спутать его с собакой и неискушенному человеку. Особой остротой отличался от собачьего взгляд его светло-карих небольших глаз. Волк был здоров, уравновешен, на цепи он тосковал, но не озлоблялся и очень радовался нашему приходу.

Меня тоже тяготила «цепная» жизнь Волчика. Я искал всякого случая, чтобы освободить его от привязи и дать ему возможность побегать. Зимой мы чаще всего уходили с ним на заснеженное озеро. На его середине, в отдалении от домов и людей, я спускал Волка со сворки. Радостно было видеть восторг этого сытого, сильного и красивого зверя, в который приводила его предоставленная ему свобода! Наконец-то получали работу его тосковавшие по движению мышцы!



Мы играли с ним в игру, напоминавшую салки. Делая возле меня круги, Волк увертывался от расставленных рук, отбегал, замирал на миг, припадая на передние лапы, и снова проносился мимо так близко, чтобы только не быть пойманным. Затем он наступал вдруг на меня, выкидывая прямые передние лапы — «испанским шагом», — и вступал «врукопашную»: вскидывал на плечи лапы, валил меня с ног, и мы барахтались в снегу. Высвободившись из моих объятий, он принимался носиться кругами, проваливаясь в глубоком снегу, напрягаясь спиной, и захлебывался от охватившей его радости так же, как делают это молодые собаки. В этой возне он прихватывал меня зубами за ногу или за руку, тянул, поймав, за рукав, но не было случая, чтобы когда-либо причинил боль.

Наигравшись, он чистил шерсть, валяясь на снегу, что-то разнюхивал, забирался в снег по уши и, следуя обнаруженному им запаху, грёб снег носом.

Иногда, идя домой на обед, завидев нас далеко на озере, к нам заворачивал отец. Он останавливался на тропинке, протоптанной к проруби, свистел и делал знаки рукой. Волк настораживался, остро всматривался и, узнав отца, мчался на

махах к нему, струясь пушистой шерстью спины, разбрасывая снег и наслаждаясь скоростью и простором озера.

Наши прогулки прерывала белая тряпка, вывешенная в форточке кухонного окна, обращенного на озеро, — условный знак, которым меня звали домой.

VI

И в неволе Волк оставался преимущественно ночным животным. Я иногда просыпался ночью от звяканья его цепи. Лунно светились морозные окна, необыкновенно громко отстукивали время часы. С пушечным гулом лопался от мороза лед, звук катился по озеру и утыкался в берег, глох.

Я шлепал по холодному полу к окну, в оставшийся около рамы чистый краешек стекла смотрел на Волка. Он бродил по недлинному рыскалу, взбирался, гремя цепью, на стол, прислушивался к гудевшим от стужи проводам, завороженно всматривался в темнеющий за озером лес.

От этого ли заунывного гудения проводов, от ночного ли одиночества зимой Волк часто выл. Он делал это всегда на столе. Забравшись на него, он крутился на маленькой круглой столешнице, поскуливая, тоскуя все более, наконец садился и,

задрав голову, начинал выть. Мне видны были его полузакрытые глаза, парок над пастью, светлый пушистый подгрудок.

На другой день старуха соседка жаловалась на кухне:

— Уж я ворочалась-ворочалась, нейдет сон, душа от страху жмется. Вот помяните: накличет он своих…

Но только раз я видел следы двух волков, появление которых вблизи заимки вряд ли было вызвано пребыванием на ней нашего Волчика: они прошли нежилым берегом и краем озера, не выказывая желания приблизиться к домам, и скрылись в лесу.

В одну из ночей, сжалившись над Волком, я оделся потеплее и вышел к нему. Он не сразу узнал меня, насторожился. Но, услышав голос, закрутился, заюлил, вскинул, по обыкновению, лапы на плечи, чуть не свалив меня в тяжелом моем одеянии. Не опасаясь испугать кого-нибудь из соседей, я спустил его с цепи тут же у конуры.

Мы долго гуляли по безлюдной, странно изменившейся заимке. Темные окна домов отражали свет полной луны, стоявшей в морозном зеленоватом кольце, заиндевевшие коровьи стайки, казалось, были окутаны облаком парного воз-

духа.

Волк не был, как обычно, расположен к играм. Он сосредоточенно принюхивался к различным следам, оставленным днем людьми, прислушивался, будто обнаружив впервые, к скрипу снега от моих шагов, к гулу лопавшегося на озере льда.

Тихо было до той поры, покуда нас не обнаружила какая-то собачонка. Она истошно заголосила, залилась под крыльцом. Ей ответила другая, третья, подключились собаки на том берегу…

Продрогнув на сорокаградусном ночном морозе, я с удовольствием забрался опять в кровать, еще хранившую тепло. Засыпая, я долго слышал, как перебрёхивались и подвывали, подзадоривая друг дружку, взбудораженные собаки.

VII

С наступлением весны мы с Волчиком стали делать ближние прогулки в лес. Уходили мы недалеко, в лесок за совхозные конюшни, углубляться далее я не решался.

Возвращаясь как-то с охоты, я встретился под вечер с его диким сородичем не дальше чем в километре от домов и опасался, что известная поговорка «Как волка ни корми, а он все в лес глядит», не находившая пока подтверждения во

время наших прогулок, может оказаться пророческой при встрече с «настоящим» волком в лесу. В самом деле, кто мог сказать, чем кончилась бы подобная встреча?

Несмотря на то что в недалеком будущем нам предстоял переезд из Сибири в Воронежскую область, где мы жили до войны, вопрос, как быть с Волчиком, еще не был решен, и мне было бы, признаться, очень горестно видеть нашего Волка, уходившего в лес навсегда, неблагодарно и вопреки хозяйской воле.

Ближе к отъезду на семейном совете было решено отвести Волчика в лес и предоставить его самому себе. При этом было опасение, что он доверчиво может вернуться к людям и будет встречен выстрелом или, напротив, превратится в изощренного хищника, вора домашнего скота. Но что было делать с ним, если на житье к себе его никто не брал, а дальний переезд по железной дороге в шумный районный центр с двадцатитысячным населением ничего не сулил ему, кроме неприятностей?

Поднять ружье, как советовали некоторые, и разом разрешить вопросы относительно будущего Волка было сверх наших сил.

Я пошел с Волчиком в лес под вечер. Спущен-

ный со сворки, он, по обыкновению, попытался поиграть со мной, но я не поддержал его. Я был занят мыслями о его судьбе, о расставании, которое должно было произойти сегодня, и о том, как это произойдет.

Мы зашли в лес так далеко, как никогда еще не забирались. Вечер уходил, сгущались сумерки. На полянах, как дым от далекого костра, слоился тонкий туман. Кончили свое вечернее бормотание косачи, лишь сонно побрёхивала, встревожившись, сорока, призывно кричала где-то на луже утка, и в залитых полой водой тальниках ей отвечал, потрескивая, селезень-чирок. Потом он перелетел, и я слышал, как, легко всплеснув, он снова сел в темных кустах.

Всё для Волка было здесь ново и крайне интересно. Он неторопливо, внимательно обнюхивал вытаявшие мышиные ходы, червячки тетеревиного помёта в местах ночных снежных лунок.

В лесу наступало время зверей и птиц, когда, покинув лёжку, оставляет первые следы заяц, вылетает сова, мягко огибая стволы деревьев, и, наткнувшись на них, неслышно шарахается в сторону. Мигнула и зажглась над лесом первая звезда.

Каждый звук, рождавшийся в безмолвном ле-

су, — отпавшая ли сухая ветка, шорох ли мыши, хрустнувший под чьей-то осторожной ногой сучок — всё занимало, настораживало Волка, заставляло его прислушиваться и ловить верхним чутьем долетавшие из чащ лесные запахи.

Я предполагал, что это время было наиболее подходящим для начала новой жизни Волка, а длинная ночь, проведенная среди лесных обитателей, должна была переломить Волчика и пробудить его инстинкт дикаря. Во всяком случае, мне так хотелось, поскольку уж мы решили расстаться с Волком таким образом.

Волк тем временем взял чей-то след и, останавливаясь то и дело и разнюхивая его, потихоньку пошел по нему и скрылся в густом осиннике.

Оставшись на поляне один, я облюбовал большую развесистую березу, сделал несколько путаных ходов, заячьих «двоек» и «смёток» и, допрыгав до березы, забрался повыше и затаился в ветвях.

Довольно долго Волка не было. Затем он появился из осинника и остановился, отыскивая меня глазами.

Все дальнейшие его действия мне были сверху отлично видны. Не обнаружив меня, Волк кинулся к тому месту, где последний раз видел

меня. Он покрутился там, взял след и, тщательно разбираясь в моих хитростях, сколовшись не однажды на моих «смётках» и начиная каждый раз сначала, в конце концов оказался у моей березы. Дальше след исчезал. Я видел, что Волк был очень обеспокоен. Он торопливо, но старательно еще раз обшарил всю поляну и, снова в точности повторив все мои движения, опять оказался подо мной.

Далее следа не было! Это было выше его понимания. Волк заметался в панике под березой и, отчаявшись, вдруг завыл.

Тая дыхание, я сидел не шелохнувшись.

А Волк продолжал выть. Он выл совсем не так, как зимними ночами, сидя на столе, — вой его был сейчас отрывист, со всхлипами. Он был растерян: лес, родной, спасительный лес обернулся для него безмолвной пустыней, исполненной ужасов и одиночества.

Я был растроган привязанностью Волчика, от его тоскливого воя сердце мое сжималось жалостью.

Время шло, но Волк не собирался уходить из-под березы.

Что мне оставалось делать?

Я не выдержал и начал спускаться. Боже, как об-

радовался мне Волчик! Он закрутился, запрыгал вокруг, вскинулся мне на грудь и облапил меня, словно опасаясь, что я опять могу исчезнуть.

Больше его сейчас ничто не интересовало в лесу. На обратном пути он держался неподалеку, заигрывал и искал мою руку.

Домой мы вернулись, когда уже совсем стало темно.

VIII

И вот пришло время нашего отъезда. Волка нам пришлось взять с собой.

Грустно было расставаться с привольем светлых березовых лесов, только что одевшихся молодой листвой, с озером, на середине которого привычно чернел табунок нырков, с охотой, начинавшейся сразу за огородами…

Что ждало Волчика в дальней дороге и на новом месте?

Пережив два нелегких года эвакуации, люди готовились к переезду на родину, как к празднику.

От совхоза до станции было двадцать пять километров. Длинным эшелоном повозок тронулись мы в путь.

Волчика привязали к телеге около заднего колеса. Суета сборов, шумная вереница повозок,

крики и говор многих людей выбили его из колеи уединенной жизни в тихом палисаднике под окном. Волка пугало катившееся рядом колесо с мелькавшими спицами, он нервничал, и наши слова утешения не имели действия. К тому же лошадь, как только он появлялся сбоку в поле ее зрения, всхрапывала, шарахалась, дергала телегу и привязанного к ней Волка. Он натягивал цепь, крутился и в конце концов угодил пальцем под колесо.

Я не мог больше видеть метавшегося Волчика, слез и взял его на цепь. Мы пошли лесом вдоль дороги. Волчик повеселел, и хотя палец у него оказался сломанным, он не обращал на это внимания и почти не хромал. Его нельзя было упрекнуть в изнеженности: видно, не к легкой жизни готовила его природа!

Так мы шли лесом, пока не наткнулись на стадо. Глухо мыча, коровы окружили нас кольцом. Даже дальние коровы, заслышав мычание, устремились рысцой к нам, тряся подгрудками, звякая колокольцами, чтобы принять участие в этой блокаде.

Оскалившись, Волк метался то в одну, то в другую сторону, отщелкиваясь зубами. От наскоков Волка коровы пятились, но круг нацеленных на

нас рогов не размыкался. Крутясь вокруг меня на цепи, Волк запутал мне ноги, я упал, а он забрался на меня. Положение становилось неприятным. Совсем рядом я видел налитые кровью глаза коров, пригнутые к земле головы. Я боялся пошевелиться, чтобы не разрушить положение того неустойчивого равновесия, которое наступило, когда ни одна из коров не решалась напасть первой, а Волк сидел на мне, скалился своей адской улыбкой и «стрелял» зубами.

Нас выручил пастух. От щелканья его кнута коровы с облегчением, как мне показалось, отпрянули в сторону, и мы побежали догонять обоз.

Неизвестно, как сложилась бы судьба Волка, если бы мы продолжали жить в Зауралье, но с отъездом оттуда для него наступили тяжелые времена. В поезде его поместили в вагон, одну половину которого занимали тюки прессованного сена, а другую — несколько веялок. Вагон только что прошел дезинфекцию, в нем было трудно дышать от густого, першившего в горле запаха карболки.

IX

Приехав на место, мы поместили Волка в глубине парка, примыкавшего к нашему до-

му, в стороне от людских глаз. Но весть о том, что у нас есть настоящий, дикий волк, быстро разнеслась по всему районному центру. К нам началось паломничество. Приходили знакомые и незнакомые, поодиночке и группами, экскурсии пионеров с учителями биологии. Приходили охотники, владельцы борзых — а чаще выборзков — с просьбой попробовать притравить по волку своих собак.

Мы потеряли покой, выдворяя то и дело из парка непрошеных посетителей. Многие из этих назойливых гостей относились иронически к нашим увещеваниям. Они недоумевали, как можно защищать волка, — по их мнению, это животное находилось вне закона.

Площадка около Волчика забрасывалась кусками хлеба, который он по-прежнему не ел, палками и камнями. Он стал раздражителен, предпочитал забиваться в конуру от надоедавших ему людей, которые желали видеть его таким, каким они, далекие от природы, представляли себе волка — злым и кровожадным.

У Волчика появилась привычка, как у зверей, сидящих в клетках зверинцев, бессмысленно бегать из стороны в сторону. Наши прогулки стали теперь редкими. Я боялся спустить его со сворки,

опасаясь встреч с людьми; часто нас сопровождали зеваки, которых я вынужден был терпеть, так как запрещение приближаться озлобляло их, при удобном случае они могли выместить это на Волке.

Недоверие к людям, появившееся у Волка, в какой-то степени распространялось и на меня. Я с грустью чувствовал, что золотая пора нашей дружбы, не омраченной этим недоверием, прошла. Ясно было, что при той неугодливости и негибкости, которой отличался характер Волка, ее уже было не вернуть.

Родители мои снова стали поговаривать о дальнейшей судьбе Волчика. Было жалко расставаться с ним, но видеть, как он замыкается и становится все более угрюмым, было тоже нелегко.

Дело решил случай. Отца послали в межрайонную лабораторию с пробой воды, взятой из только что пробуренной артезианской скважины. Неблизкая дорога шла бором, густыми посадками сосняка, поймой лесной тихой речки, окруженной непролазным тростником сухих болот и плавней.

Отец взял Волка, чтобы отвезти в безлюдное место и еще раз предложить ему свободу.

Я был в школе и не видел, как Волчика посадили в зеленый армейский «виллис», как тронулась в путь и скрылась за поворотом машина. Грустно было смотреть, вернувшись домой, на осиротевшую конуру и пустую цепь, на истоптанный Волком точок, замусоренный камнями и палками…

Отец рассказал потом, как все было.

Впервые ехавший на машине, Волчик всю дорогу прятал голову у отца в коленях. «Виллис» остановился на краю сухого кочковатого болота, шелестевшего метелками рослого тростника. Волк бродил по обочине, жадно принюхивался к запахам леса и болотных трав, к следам кабана, пересекшего в этом месте лесную дорогу, и не сразу заметил, как машина тихо отъехала и остановилась на пригорке.

Он долго стоял на дороге и смотрел ей вслед. О чем думал Волчик, глядя на неподвижный «виллис», на куривших возле него людей, на отца, похлопывавшего по сапогу снятым с него ошейником?

Люди не звали его, но и не уходили.

В лесу где-то стучал дятел, проскрипел крылом ворон, неторопливо протянувший над головой через болото…

И Волк решился. Он повернулся, медленно вошел в болото и скрылся в тростнике.

Больше мы ничего не слышали о нем — ни от охотников, ни от лесников, ни от пастуха, гонявшего стадо по опушке бора.

Волчик исчез, как в воду канул.

X

Прошли годы, но дружба с Волчиком не забылась. Благодаря этой дружбе я навсегда сохранил особое отношение к волкам.

Спустя много лет мне привелось участвовать в охоте на волков. Были зафлажены четыре волка. Стрелки́ встали на номерах в продолжение линии флажков. В глубине оклада тихо ходили, негромко посвистывая, постукивая по стволам деревьев, два загонщика.

Три волка были взяты в первый день охоты, а четвертый — он был ранен — остался в кругу. Ранние зимние сумерки помешали взять этого последнего волка. Кумачовые флажки стянули вкруговую, и они остались стоять до следующего дня.

Мы ночевали на маленьком глухом кордоне, окруженном лесом. Удачливые охотники ужинали, «гусарили», оживленно вспоминая за столом

события сегодняшней облавы и прошлые охотничьи истории.

Я выходил на крыльцо дохнуть свежего воздуха. Великолепным было высокое звездное небо. В темных чащах мороз изредка постреливал сучком, прохватывал ноздри, студил разгоряченные после долгого пребывания на воздухе и в жаркой избе щеки. За бревенчатой стеной слышались голоса и смех охотников.

Где-то в темном лесу сидел в глухом окладе раненый волк. Нелепой казалась простота умного, сильного зверя, не позволявшая ему переступить черту оклада, непостижимым был простодушный страх волка перед кумачом безобидных флажков. Я вспомнил простака волка, вмерзшего в прорубь в ожидании рыбы, которого наутро бабы отлупили бельевыми вальками, — как точны в характеристиках своих героев русские сказки!

Отдохнувшие, выспавшиеся, мы пришли на другой день к месту облавы. Волк из круга не вышел. Сняв часть флажков, цепью рассыпались стрелки. Стоя на «номере», я слышал, как далеко в лесу начали «пошевеливать» зверя загонщики, думал о раненом волке — последнем, вероятно: о волках давно не слышно было в тех краях, — который провел тяжелую ночь в зафлаженном

лесу, когда мы спали в избе.

Он вышел на меня неожиданно близко. Я увидел его всего сразу: слипшуюся от крови, с примерзшим розовым снегом шерсть на ляжке, приставший к шее обыкновенный, как у собаки, репей, его ненавидящие и полные ужаса глаза — он уже знал, что сулит ему встреча с человеком.

Я еще раньше, слушая приближающихся загонщиков, задумал не стрелять этого волка, коль он выйдет на меня. Впервые с тех пор, как у нас жил Волчик, я видел так близко живого вольного волка.

Я не поднял ружья: непросто выстрелить по последнему зверю, даже если он волк.

Минька

Так получилось, что в классе я был самым длинным и всю жизнь сидел на «Камчатке». Позади была стена, а на стене карта. Оттуда мне в макушку целился своей острой южной оконечностью полуостров Камчатка. Мыс Лопатка — называлась эта оконечность.

Кто из «камчаточников» не хочет побывать на всамделишной Камчатке? Я оборачивался к карте и, конечно, тоже мечтал увидеть самый большой в стране полуостров. Где еще найдешь настоящий вулкан? Гейзеры… медведи… огромные рыбины-лососи…

Прошло немало лет. Я закончил школу, институт, успел потрудиться на заводе. А давняя мечта росла вместе со мной и год от году становилась все настойчивее.

И вот мне представилась возможность поработать на Камчатке.

Дали комнату в общежитии.

Большой ящик из-под макарон я накрыл клеенкой с нарисованными на ней шестеренками и кувшинчиками. Получились сразу и стол, и буфет, куда я прятал хлеб, посуду, чай и сахар. Койка

в моей комнате уже стояла — осталась от кого-то в наследство. Бугристая и шаткая, но спать можно. А табуретку мне подарили соседи. Для полного комфорта мне теперь не хватало лишь медвежьей шкуры. Это красиво и романтично, когда в комнате лежит шкура какого-нибудь крупного страшного хищника. Кроме того, если спать на медвежьей шкуре, постепенно становишься сильным и бесстрашным. Так я слышал, по крайней мере.

— А ты сходи к Осьмухе, — посоветовали мне. — Есть тут такая бабушка-медвежатница.

Бабушка Осьмуха жила в отдельном домике с голубыми ставенками. Честно говоря, я никак не мог представить, как выглядит медвежатница. Густобровая небось и усатая, ступает вперевалку…

Едва я звякнул кольцом калитки, между геранями в окошке показалось приплюснутое старушечье лицо. Поверх очков на меня глянули голубенькие глазки. То ли ставни покрасили под цвет глаз, то ли глаза подголубили заодно со ставнями…

Бабушка-медвежатница оказалась небольшой бабулей в шерстяном платке, концы которого были завязаны за спиной. У нее были пухлые

веснушчатые руки, пухлые щёчки и пухлый подбородок под запавшим ртом. Да и вся она была какая-то мягкая и круглая, точно сдобный колобок. Ничего общего с чем-то медвежьим у нее не было. И как это она ухитрилась завязать сзади платок?

— Был, был мех, гражданин, — подтвердила бабуля. — Да упросил продать один художник, из Москвы приезжал.

— Вот и я оттуда!

— Вишь как, про меня в самой Москве знают! — горделиво стрельнула глазками старушка. — Весной приезжай. Подрастет. А сейчас нету.

Я ничего не понимал. Где «подрастет»? Берлога, что ли, у нее на примете, куда она весной пойдет за медведем?

— Шутник ты, парень, — распустила бабуля в улыбке щеки. — Какая еще «берлога»? Вон сарайто. Пойдем, покажу.

Осьмуха накинула шубейку и повела меня во двор. Там в сарае сидел на цепи молодой медведь. Он встал на дыбки и замахал передними лапами.

— Миня, Миня! — запричитала бабка. — Миночка сладенького хочет. Не бойся, он смирный. Совсем ручной.



У меня случайно оказались купленные в магазине пряники. Миня загребал лапой — давай, мол, не скупись, — смешно вытягивал трубкой губы и жевал пряники. Он косился на меня маленькими лиловатыми глазками и постанывал

от удовольствия. Пряники быстро кончились. Знал бы — купил побольше. Миня обиженно захныкал: мало!

— Но медведи-то зимой спят, — вспомнил я.

— А пусть спит, коль захочет, — согласилась хозяйка. — Только они у меня почему-то не спят. Я их кормлю. Пятого или шестого уж держу. Чем кабанчика, лучше медведя. И мясо, и шкура.

По-новому оглядел я бабку. Так вот она какая «медвежатница»! Жаль, не знают, не могут ей отплатить камчатские мишки…

— Где же вы их берете?

— А у меня племянник есть, Толик, шофер. С экспедицией ездит, мне и привозит.

Бабуля поджала губы. Ей не нравились мои расспросы. Пришел покупать — так нечего любопытничать.

Мы помолчали. Замолчал и Миня, словно задумавшись о своей нерадостной судьбе…

— Приезжай в апреле, — повернулась к дверям бабка. — Так и быть: твой будет этот мех.

Но мне уже расхотелось иметь медвежью шкуру. Одно дело, когда она готова, как из магазина, другое — когда на живом Миньке…

— А может, сейчас продадите медведя?

Это вырвалось у меня само собой. Куда, если

подумать, мне его деть? Где держать-то?

Бабушка пожевала запавшим ртом, сообразила что-то и кивнула решительно:

— Давай. Только я возьму за него, как за весеннего.

И она заломила сумму, которой у меня не было. Не могло быть таких денег и весной.

С тяжелым сердцем я уходил от «медвежатницы». Как же выручить Миню? Он провожал меня стоя, гукал вслед и махал лапами, будто приглашая — приходи! Да гляди, пряников не забудь!

Думал я, думал, как быть с Миней, и, кажется, придумал.

К нам на завод пришел военный плавучий док. Такие доки служат для подъема — докования — кораблей. Похож плавдок на перевернутую букву «П». Или на огромное корыто без передней и задней стенок. Такое большое, что в нем помещается корабль. Дно у корыта — пустые понтоны. Зальют их водой — док погрузится, только ножки у буквы «П» торчат, они называются башнями. Откачают воду из понтонов — док всплывет и поднимется, а заодно поднимет и вошедший в него корабль. Теперь — пожалуйста, можете ремонтировать корабль и красить его днище. Вот оно, все на виду.

Но и сам док время от времени нуждается в ремонте. Вот его и прибуксировали к нам на судоремонтный завод. И мне поручили вести на нем работы.

Ремонт не ремонт — у военных моряков служба идет своим порядком. Как всегда, утром — подъем, вечером — отбой. У входа на док стоит часовой с карабином и сине-белой повязкой на рукаве. Проверяет, есть ли пропуск. Так положено. Моряки на доке служат и учатся, помогают заводу в ремонте. В кубриках тепло, светит электричество, подключенное с берега, и работает своя кухня — камбуз. Всегда в одно и то же время к командиру дока приходит кок и докладывает: «Товарищ капитан-инженер третьего ранга! Обед готов! Прошу снять пробу». Командир надевает фуражку, идет на камбуз и пробует первое, второе, а бывает, и компот. «Добро! — по уставу разрешает обед командир и от себя добавляет: — Молодец, кок! Борщ отменный!»

Военнослужащий, когда его хвалят, должен отвечать: «Служу России!» Но кок — в колпаке и фартуке, с чумичкой[16] в руке — стесняется говорить такие слова и отвечает попросту: «Рад

---

[16] Примечания: 16

Чуми́чка — большая разливательная ложка, половник *(устар.).*

постараться, товарищ командир!» И он действительно рад угодить команде и накормить ее повкуснее.

Хорошие ребята служат на доке! Я быстро подружился с матросами и офицерами. Вот и придумал посоветоваться с командиром, не выкупить ли всей командой Миню у бабки Осьмухи. Пожил бы на доке, ремонт большой, на два года, а там видно будет…

— М-да… — вздернул брови и почесал переносицу командир. — Медведь на доке… Впрочем, в учебном отряде у нас когда-то жил медвежонок. Забавный был товарищ. Надо посоветоваться с замполитом.

— Я считаю, это безобразие! — вскипел замполит, услышав мой рассказ про Миню и бабку. — Откармливать камчатского бурого медведя, как какого-нибудь поросенка! Я считаю, это надо пресечь. Личный состав сейчас как раз на занятиях в комнате отдыха. Обсудим! Решим!

Вероятно, речь замполита была пламенной и убедительной. Не прошло и двадцати минут, как в дверях командирской каюты появились три матроса во главе с интендантом-старшиной, белорусом по фамилии Булёля. Они были возбуждены и полны решимости постоять за правое

дело. С ними я отправился в знакомый дом на склоне сопки.

— Уважаемая гражданка Осьмухина! — приложил руку к мичманке и щелкнул каблуками старшина. — По поручению команды наряд моряков прибыл забрать у вас за наличный расчет медведя по кличке Миня! Короче, покупаем. Вот деньги, сколько просили.

— Да ведь, милые… — заморгала голубыми глазками струхнувшая бабка. — Милые, непродажный он… Одинокая я… Я к нему привыкла.

— Ну нет! — выступил я из-за матросских спин. — Как мы договорились? Уговору — место!

— А-а, и ты тут! — уколола меня сердитым взглядом Осьмуха. — А говорил, из Москвы…

— И вот что, гражданка бабуся! — продолжал Булёля. — Военные моряки наказывали передать, чтобы это в последний раз!

— Что, милые? Я ничего…

— Медведей держать, вот что! Да еще в корыстных целях! По закону нельзя отлавливать животных! Учтите: будем это пресекать!

— Так ведь не я, милые!.. Не я отлавливаю! — запричитала вконец оробевшая бабка. — Мне привозят… Сама покупаю…

— Короче, всё! — прервал ее Булёля. — Где

медведь?

...Три матроса во главе со старшиной вели подростка-медведя на завод. Установлено, что на Камчатке самое густое в стране медвежье население. Но в городе их все-таки нет. И Миня сразу привлек всеобщее внимание. Неистовствовали разномастные взъерошенные псы. Останавливались и глазели вслед зеваки. Шоферы притормаживали машины, тянули шеи из окон кабин. Миня мотал головой, клянчил сухофрукты, которыми ребята предусмотрительно запаслись на камбузе, и прыгал боком на всех четырех лапах. Он был доволен прогулкой. Наступившие в его жизни перемены пока его устраивали.

На дальнем конце дока плотники сколотили большую, в рост человека, конуру. Она была похожа на ярмарочный ларёк-теремок, в котором торгуют квасом. Над входом в теремок доковский художник сделал полукругом цветную надпись:

Осторожно! Миня!

Так док стал «минированным». Или «Миня-доком», как прозвали его на заводе.

У военных моряков каждый механизм, каждая веревочка, именуемая шкертиком или кончи-

ком, имеет своего хозяина, ответственного за это имущество. Таков порядок на флоте.

— Старшина! — вызвал командир Булёлю. — Медведь поступает в ваше заведование. Вы больше всех хлопотали — вы и отвечайте. И чтобы на доке все было о'кей!

— Есть, трищ-капитан-инжнер-треть-ранга! — вытянулся Булёля. — Все будет в о'кее! Разрешите идти?

Но хозяином Мини считала себя вся команда. Матросы в свободное время крутились возле ларька-теремка, угощали Миню сахаром и галетами, учили всевозможным штукам. Морякам не терпелось поскорее обучить медведя. Команд было множество, Минька путался и вскоре понял одно: надо что-то сделать, за это дают лакомство.

— Миня, смир-рна! Адмирал!

Но Минька начинал прыгать на всех четырех и мычал, вытягивая губы трубкой.

— Ишь обрадовался начальству! Гляди, получишь нарядик вне очереди! — Путаница Миней команд еще больше веселила матросов.

— Миня! Полундра!

А Миня, вместо того чтобы спрятаться в конуру, медленно валился на бок и замирал на палубе, как при отбое.

— Отставить! — покрикивал на моряков старшина. — Животное портите. Каждый должен выполнять команду только непосредственного начальника. Тут любой запутается, когда столько командиров.

— А кто над ним начальник?

— Как — кто?! В чьем он заведовании? Вот буду в отпуске, съезжу на консультацию в Сморгонь. Я слышал, это место когда-то славилось тем, что там умели учить медведей. Сморгонской академией называли. Может, кто остался там из знающих людей. Обучу Миню — выступать будем!

Булёля выпросил у командира разрешение спускать медведя с цепи. Деться ему было некуда: кругом дока была вода, заводская бухта, а у сходни на берег всегда стоял часовой. Минька носился по пустой просторной стапель-палубе, где при работе дока стоят поднятые корабли. Он принимал участие в уборке снега, растаскивал с рабочими сварочные провода и воздушные шланги. Играя с резиновыми проводами, путаясь в их кольцах, Минька посматривал на сварщика: ну, как опять запалит свой страшный огонь? Несколько раз поблизости от него начинали варить, он уже знал, что это такое. Медведь чихал от запаха и дыма сварочной дуги, пугался ее вспышек

и треска и удирал, вскидывая кургузый зад, к своему теремку.

Многоснежная камчатская пурга заносила его жилище по самую крышу. Минька долго не показывался.

— Не знает небось, что пурга кончилась! — смеялись матросы.

— Может, заснул? — посматривал на сугроб Булёля. — Чем не берлога?

На доке объявляли аврал.

— Миню не откапывать! — предупреждал старшина. — Пусть поспит. Может, он теперь до весны.

Наверху, на топ-палубе, появлялся кок, украинец Гнат.

— Зараз будеть ему побудка!

Кок начинал скоблить какую-нибудь кастрюльку. При этих звуках Миня не мог оставаться безучастным. Снег перед конурой дыбился, дышал и наконец взрывался. Под хохот авральной команды появлялся заспанный и всклокоченный, весь в снегу Минька. Он фыркал, отряхивался и тяжелыми махами проминал ход в сугробе туда, где обычно сыпались подачки из камбуза.

— Ну погоди, Гнат! — грозил снизу старшина. — Я тебе нынче самому сыграю побудку! Часа

в два ночи!

— Добре, старшина! — соглашался кок. — Тильки тоже сготовь менэ що-нибудь вкусненька!

Со временем все привыкли к тому, что на доке живет медведь.

Рабочие сами просили дать им наряд на ремонт «Мини-дока». В обед они угощали Миню, а он попрошайничал и занимал их своими проделками. А когда потеплело и на стапель-палубе появился стол для домино, медведь крутился возле людей в брезентовых робах, шумно забивавших во время перерыва «козла», заглядывал и пытался сгрести со стола кости. Вместе с рабочими он веселился, когда кто-нибудь азартно стучал костяшкой и кричал: «Вста-ать! «‚Р-рыба“!» — и однажды так хватил лапой по столешнице, что все доминошки, как стайка птиц, взмыли в воздух.

Завод был перегружен работами, но ремонт дока стал опережать график. Я и не предполагал, что Миня может оказать такую услугу.

— А где вторая бригада монтажников? — спрашивал на оперативке главный инженер завода. — Что, тоже на доке?! Ты брось эти штучки! — грозил в мою сторону главный. — Мы плавбазу срываем, а он, видите ли, людей медведем сманивает!

Освоился со своим житьем на доке и Миня. Он уже не путал команд и, когда нужно, вытягивался, «отдавал честь» правой лапой, валился на бок при слове «отбой». Но больше всего он любил, когда раздавалось: «Команде пить чай!» Миня поднимался на дыбки, загребал правой лапой, требуя угощения, а левой поглаживал по мохнатому животу.

— От понятливый! — восторгался Булёля. — Он бы еще что-то сделал, да мы не можем научить. Тоже ведь, надо знать… Надо, надо мне в сморгонской академии побывать!

При встрече со мной Миня знал твердо: должны быть пряники. Если я давал что-то другое, Минька торопливо съедал и настойчиво лез в руки, тыкался в карманы: пряники, пряники-то где?

— А вы любитель, — улыбалась продавщица в магазине, — вы один наш план по пряникам делаете…

По узкому трапу Миня приловчился забираться на топ-палубу. Странно было видеть появившуюся в люке лобастую медвежью башку и лапы, скребущие когтями по рифленым металлическим ступеням. Он выбирался наверх и, очень довольный своей ловкостью, радостно топал по узкой и длинной топ-палубе в конец дока. Он

любил это место. Там, пожалуй, было спокойнее всего. Внизу, по стапель-палубе, ходили рабочие и матросы, шипела газорезка и гудели сварочные аппараты, что-то тащили, чем-то гремели… Там шел ремонт, его шум и суета надоедали медведю. С топ-палубы были видны цехи, тесно стоявшие у заводской набережной рыболовные суда. На судах работали люди, вспыхивала сварка, осыпая на воду искры, по набережной двигались неторопливые краны, поднимавшие то пучок труб, то доски, то ящики с отходами от ремонта. А по заводской бухте, называемой акваторией или попросту ковшом, ходили в битом льду трудяги буксиры «Серп» и «Молот».

А в другую сторону горбились сопки с темными пятнами кедрача и тянулась бухта, которую пересекала едва заметная тропка, проложенная по льду к дальней нефтебазе на том берегу.

Фигура Миньки тоже хорошо видна была на башне дока. Оторвавшись от дела, рабочие на судах улыбались и показывали друг другу:

— «Дежурит»!

— Опять «на посту»!

— А здоровый-то какой стал!

Вид с башен завораживал Миню. Он притихал, смотрел на суда, на людей, мычал потихоньку,

будто напевая про себя песенку, и покачивал головой, то ли кланяясь издали, то ли осуждая.

Бежали за старшиной: Минька не мог слезть без его помощи. Трап не был рассчитан на медведя. Булёля заманивал Миньку сухими грушами и подстраховывал его, когда он, осторожно примериваясь, косолапо ковылял со ступеньки на ступеньку.

Но скоро Миня и это освоил. Он научился спускаться, как с дерева, задом.

— Сразу видно — сухопутный! — смеялись матросы. — Миня, какой же моряк спускается спиной вперед? Гляди, подставят тебе вилку!

У Миньки обнаружилась странность: он не мог оставаться равнодушным при виде долгополой одежды. Может, это напоминало ему бабку Осьмуху? А может, и еще тут было что-то такое, о чем знал только Миня. Матросы обычно ходили в теплых куртках-канадках из «чертовой кожи», не пробиваемой ветром, или в бушлатах. Шинель и тулуп, которые висели в дежурке, надевал только часовой. Вид моряка в долгополой одежде, должно быть, ужасно смешил Миню. Заметив идущего к трапу, сменившегося с поста часового, медведь мчался к нему и начинал заигрывать, вертеться вокруг, прыгать боком и старался зацепить

болтавшуюся полу. Подбирая шинель, часовой удирал по трапу. Но Миня трап уже освоил. Почти так же резво он лез наверх. И вот — р-раз! — добротное матросское сукно не выдерживало, и разорванная пола повисала, путаясь в ногах. А тут, как назло, командир:

— Матрос Сенчук! Что за вид?!

И матрос получал приказ идти к боцману за нарядом вне очереди по уборке дока…

— Товарищ старшина! — обиженный матрос-первогодок показывал Булёле рваную шинель. — Ваше заведование, так вы хоть когти ему стригите! В чем же я теперь буду ходить? От командира ни за что влетело…

— Эх ты! — зачмокал языком интендант. — Зачем же ты на глаза командиру полез? Ну ладно, возьми мою… А я в старой похожу, она у меня еще хорошая…

Старшина Булёля был сирота. Как у многих белорусских детей, родителей у него отняла война. Его домом стал док, семьей — военные моряки. Когда у него вышел срок службы, он попросился на сверхсрочную и решил, пока будут силы, служить на флоте. Родных у Булёли не было, но осталась родина, его Белоруссия. И он, когда начинал тосковать по ней, уезжал туда в отпуск.

Только не очень часто это случалось. Не так легко навещать родину, где у тебя нет родных…

Я подружился с Булёлей. По вечерам он у себя в каюте играл на мандолине белорусские песни. Легонько подергивая струны пластмассовым медиатором, Булёля глядел на гриф и тихо подпевал:

Ти ж мая, ти ж мая пирапёлочка…

Глаза его становились грустными и смотрели куда-то мимо меня.

Старшина нес морскую службу умело и браво, но в общем-то он оказался человеком тихим и неразговорчивым. Может, был таким от природы, а может, его сделала таким война.

Но иногда он становился озорным, способным на любую мальчишескую шалость. Он мог запустить с башни воздушного змея, сделать смешную маску. Если откуда-то сверху вдруг планировали и козыряли в потоках воздуха, сквозившего между башнями, огромные «голуби», свернутые из устаревших ведомостей снабжения, ребята уже знали: это дело рук старшины. Наверное, в такие минуты к Булёле возвращалось его украденное войной детство. Но конечно, все это он делал в те немногие часы, когда команде предоставляется

«личное время» и матросы пишут письма домой.

«А в самом деле, была бы неплохая пара — белорус с медведем, — думал я, глядя, как Булёля пускает сверху мыльные пузыри, а Минька гоняется за ними внизу по стапель-палубе и фыркает от лопнувших перед носом жидких шаров. — Немало бы доставили они радости ребятишкам где-нибудь в цирке или в ярмарочном балагане!»

Вечерами после работы мы с Булёлей ловили рыбу. Он и этим занятием увлекался, как мальчишка. Завод притихал. Лишь кое-где звякало железо, пошумливал двигатель траулера, начавшего испытания после ремонта. В золотой от заката воде бодро торчали наши поплавки. Наживку теребили селявки, поплавки подрагивали и ходили кругами. Минька сидел рядом и тоже смотрел на поплавки, нетерпеливо тыча носом в плечо Булёли.

— Ты что делаешь? — отстранялся Булёля. — Столкнешь ведь! — Но вот поплавок уходил под воду, Булёля вытягивал бычка, возмущенно топырившего плавники. — Ага! Еще один «бык»!

Больше брала мелочь. Булёля снимал рыбку, примерял ее к заклёпкам ближнего кнехта; если добыча была меньше расстояния между заклепками, он возвращал ее в бухту:

— Иди, «бык», нагуливай фигуру!

Миня провожал взглядом выброшенную рыбку, гукал и дергался.

— Ладно, ладно, не жадничай, — ворчал Булеля. — Жалеешь, а сам не ешь. На Камчатке коровы и те рыбу едят, а тебе все давай кашу с изюмом…

Булёле надоедали селявки, теребившие наживку, он заглублял крючок и скоро вытягивал плоскую, как лепешка, с оранжево-черными плавниками камбалу.

— Вот тебе, Миня, «гидрокурица»!

Так матросы в шутку называли ее за белое, будто курятина, мясо. Булёля кидал добычу в пожарное красное ведро, снова закидывал удочку и говорил задумчиво:

— Вот когда мы с батей ходили рыбачить на речку Ширяйку, раз во какую поймали рыбину…

И он рассказывал, как рыбачил с отцом. Но я-то уже знал, что, когда началась война, ему было всего полтора года, — все это он выдумывал…

И вот пришло время отпуска Булёли. А Минька остался. Минька скучал. Слонялся по доку, забирался на башню и подолгу стоял там, оглядывая завод и бухту. Но больше всего, видно, его тянуло в сопки. Там буйствовало короткое, но пышное камчатское лето. Плотной зеленой шубой покры-

вали сопки густые корявые каменные березы, чуть не вровень с ними высились заросли шеламайника, цвели лилии-саранки и кипрей, оттуда доносились запахи земли и трав… Уж не там ли его хозяин, печально-веселый белорус Булёля? Минька покачивался, переступал с ноги на ногу и, раздувая ноздри, ловил струйки ветра.

А у меня наступили горячие дни. Я даже ночевал порой на доке, в каюте старшины-интенданта. Отремонтированные в цехах механизмы везли на док, надо было их устанавливать и проверять в работе. Монтажники смонтировали котел и ждали топливо, чтобы провести «горячие» испытания.

Поздно вечером тяжелый док чуть качнуло. Это подошла и пришвартовалась самоходная баржа-нефтянка. Она доставила мазут для котла. Вахтенный моторист подсоединил шланг, включил насос и перекачал горючее на док.

Утром ко мне в котельное отделение прибежал дежурный:

— Минька исчез!

Его не сразу хватились. Подумали, спит в своем теремке. А когда кок Гнат принес любимой Минькиной рисовой каши с изюмом, никто оттуда не вышел. Теремок оказался пуст.

Два дня искали военно-морского медведя Миню. Матросы облазали весь док и весь завод, прилегающие дворы и подвалы, заросли кедрача и березняк на ближних сопках. Часовой клялся, что ночью на берег никто не сходил. Минька как сквозь землю — сквозь док — провалился.

Куда он мог деться?

Все стало ясно, когда в заводской ковш снова пришла нефтянка.

— Отвалил я от дока и пошел на нефтебазу, — рассказывал шкипер баржи-самоходки. — Чуть светает, туман… Подошел к пирсу, хотел пойти швартовы кинуть вахтенному, а на палубе у меня — медведь! О какой! Стоит и шею тянет, берег нюхает. Я — назад, дверь на задрайку. А вахтенный с причала кричит: «Кидай конец! Заснул, что ли?» А когда разглядел, что это медведь, — дёру! Слышу только, как каблуки по настилу застучали. Приоткрыл я дверь и вижу, что медведь целится на пирс прыгнуть, а баржа-то уже отошла, широко… Как он сиганет! И пошел в сопки. Поднялся и давай на всех четырех прыгать. А потом приложил лапу, вроде как честь отдал — ко-омик! Так и ушел…

А вскоре вернулся Булёля.

— Эх вы! — с чувством сказал старшина. — А я

ему меду привез…

Он заперся в каюте и там провел оставшийся день отпуска.

— А может, к лучшему, а, старшина? — постучал я к Булёле. — Дикий зверь должен жить вольно.

— Да ведь не дикий он! — горевал Булёля. — Убьют его. С вертолета. Иль так наскочит…

Интендант сидел на койке и, шмыгая носом, молча пришивал на китель мичманские погоны. Пока он был в отпуске, пришел приказ о производстве его в мичманы.

— Ну что ты… Какой же уважающий себя мужчина, тем более летчик, будет расстреливать с вертолета беспомощного зверя?!

— А то ты не знаешь… — горько вздыхал Булеля. — Мало ли еще дряни на свете! Вроде бабки Осьмухи…

Я пригласил мичмана Булёлю в гости.

— Красивая клеенка, — сразу заметил хозяйственным взглядом интендант, разглядывая кувшинчики и шестеренки. — Надо бы нам на док в столовую купить.

Мы сидели у макаронного стола-буфета и пили чай с Минькиным медом. Мичман, как гость, восседал на голубом подаренном табурете, а я — на посылочном ящике.

Тролль

Он появился, когда мне стукнуло семь лет. Это случилось как раз в день рождения — в один из тех неповторимых дней, еще не омраченных мыслями о прожитом и сделанном, когда удивительными казались не только события, но и само солнце, и дуновение ветра, и запахи земли.

Я открыл дверь, готовый принять поздравление сверкающего весеннего утра, и увидел на крыльце пса. Он посмотрел на меня желтыми глазами так спокойно, будто мы были знакомы всю жизнь, и завилял хвостом.

Это было поразительно. Первое, что пришло мне в голову, — тролли. «Конечно же только тролли, этот шкодливый подземный народец, могли подкинуть мне такое уродливое существо, и так неожиданно», — подумал я, вспомнив незадолго до того прочитанную сказку.

Песик был действительно на редкость уродлив. Это бросалось в глаза сразу. У него была несуразно большая голова, вывернутые передние лапы с нависшими коленками и длиннющее туловище. Он был как такса, только значительно больше, и лохматый. Пока я его рассматривал, он

подошел ко мне и попытался встать на задние лапы, что ему, при его крокодильих формах, так и не удалось.

Пес, получивший кличку Тролль, остался у меня. Тролль не был ни служебной, ни охотничьей собакой, и в нашем хозяйстве мог бы, пожалуй, сойти лишь за домашнего шута. Поэтому взрослые не вмешивались ни в его воспитание, ни в наши отношения. Мы были предоставлены себе. Мы были отдельной республикой, в которой я стал ее президентом, а он — моим подданным.

Как подданный, Тролль отличался образцовой солидарностью во всех моих начинаниях. Повсюду он неотступно следовал за мной. Я постоянно чувствовал на себе взгляд его желтых простодушных глаз, пытавшихся понять, что я делаю. Его стремление соучаствовать в моих делах было трогательным и доходило до курьёзов. Мы вместе ходили купаться на пруд и бродили по степи. Заметив, что я шарю в траве, разыскивая клубнику, он принимался делать то же самое, весьма аккуратно отделяя ягоду от трехпалых листьев. Точно так же он ел, глядя на меня, зеленый лук, опавшие груши-дички и желтые, забытые на грядках огурцы.

Одним из самых любимых мест у нас был се-

новал. Тролль научился залезать по крутой лестнице сам, потешно переваливаясь, напрягаясь длинной спиной. Мы слушали дождь, стучавший в тесовую крышу, я вслух пересказывал ему прочитанные книги, а он в знак признания пытался лизнуть мне щеку и обнюхивал, щекоча, мое ухо.

Тролль подрос. Говорили, что его уродство увеличилось пропорционально росту. Я этого не замечал. Вероятно, он стал бы настоящим монстром, если бы вырос до взрослой собаки. Но этого не случилось. В начале зимы Тролль зачумился. Ему ввели противочумную сыворотку, однако болезнь не уходила. Всегда чистые, чуть печальные глаза его были теперь мутны, тело изгибалось в жестоких судорогах. В перерывах между приступами глаза Тролля прояснялись, он лизал руки, извиняясь за причиненные хлопоты, и протяжно, по-стариковски вздыхал.

На восьмой день утром я обнаружил его окоченевшим, с мучительно оскаленными зубами. Это была только моя потеря. Я стеснялся показывать свое горе, опасаясь насмешек, и потому пережил его в одиночестве.

Прошли день, ночь; рано утром я положил Тролля на санки, отвез в степь и похоронил там

в глубокой, занесенной снегом канаве. Стоя на ее краю, я горячо, взволнованно думал о том, какая большая и преданная душа жила в моем уродливом друге. Впервые, вероятно, коснулся я тогда истины, которую познал потом, — форма сосуда еще ничего не говорит о его содержании.

Вальда

Нет, я ничего не делал для того, чтобы завязалось наше знакомство. Я долгое время даже не знал, как ее зовут. Она сама подошла ко мне, когда я сидел на берегу пруда, привалясь к заляпанному мыльными натёками комлю ветлы, — тихими августовскими сумерками здесь, в уединенном уголке, купались возвращавшиеся с поля женщины.

Сейчас тут было безлюдно. С другого конца пруда, с мальчишьей копанки[17], доносились голоса ребят и докатывались едва заметные волнишки, покачивавшие самодельный, из пробки, поплавок с перышком-сторожком[18]. Пруд давно зацвел, от движения воды густовзвешенная зеленая муть сбивалась в клубы облаков. Здесь, в тени вётел, вода казалась особенно зеленой, как щавельные щи.

---

[17] Примечания: 17

Ко́панка — небольшой пруд, выкопанный для сбора воды на полив. Здесь: подкопанный для удобства купания берег, у мальчишек отдельно от девчонок.

[18] Примечания: 18

Перышко-сторожо́к — воткнутое в поплавок удочки перышко, которое колышется, когда клюет рыба, — как бы «сторожит» поклевку, делая ее более заметной для рыбака.

Она подошла так тихо, как подходят только к рыбакам и художникам, чтобы заглянуть через плечо, но я почувствовал ее присутствие и оглянулся. Она ответила мне взглядом прозрачных светло-ореховых глаз и виновато-извинительно шевельнула хвостом. Но тут пробка пошла по дуге, сторожок закивал своему изломанному отражению: в клубившемся «бульоне» что-то происходило… Я подсек и выкинул в траву золотистого трепещущего карасика. Она подскочила, придавила его лапой, но, устыдившись, должно быть, несдержанности, виновато скользнула по мне своим ореховым взглядом и вернулась к прежней позе.

— Ты что, дурёха, на крючок захотела? А потом что — вырезать его, что ли?!

Она чуть склонила голову, навострилась от впервые услышанного голоса и вновь уставилась на поплавок: самое интересное, как она поняла, было связано именно с ним. Я сидел к ней боком и вполголоса болтал просто так, ни о чем, как всегда говорят занятые своим рыбаки, художники и мастеровые. Слова в таком разговоре отрываются легко и бездумно, как опадающие листья, и только что сказанное слово исчезает так же бесследно, как слетевший, потерявшийся меж другими

лист. Мои слова, кажется, ее смущали. Сознавая необязательность участия в таком разговоре, она все же догадывалась, что была единственной, к кому они адресовались, и не знала, как на них реагировать.

Она подергивала рыжеватыми бровками, притворно позёвывала и вздыхала, садилась или укладывалась по-русачьи, вытянув лапы. Это была немецкая овчарка, но с явной примесью то ли гончака, то ли просто дворняги. Одно ухо у нее было надломлено, а щипец[19], пожалуй, более туповат, чем у овчарок.

[19] Примечания: 19

Щипе́ц — часть морды собаки от глаз до конца носа (пошло от борзых, захватывающих зверя).



В нашем охотничьем доме служебные собаки

симпатией не пользовались: настораживало их наследственное недоверие и подозрительность ко всякому незнакомому человеку, хотя, по существу, винить в этом следовало бы не собак, а их хозяев, постаравшихся вложить в своих питомцев собственное отношение к людям. Но у моей незнакомки в глазах было любопытство, напряженное внимание, смущение — всё, что угодно, только не подозрение. Прозрачно-чистым, изучающим и наивным был ее ореховый взгляд.

Она подскочила было и к следующему карасику, но я успел отдернуть рыбёшку с таившимся в ней крючком, — она приняла это как игру и заложилась бегать кругами, подминая крапиву и череду.

Карасик был последним, «загаданным». Становилось жарко, рыба, наверное, отошла куда-нибудь в тень, в прохладу, и брать перестала.

— Приходи, — пригласил я собаку. — Прихвачу и тебе удочку, раз ты такая рыбачка.

На крыльце я обернулся и увидел собаку на другой стороне улицы. Значит, она следовала за мной поодаль и теперь «засекала» дом, где я живу.

Несколько дней ее не было.

— Не тебя ли дружок дожидается? — глянула в

окно мать, вытирая после завтрака чашки.

Овчарка с надломленным ухом сидела против нашего дома и неотрывно смотрела на крыльцо. Она ждала.

— Это не «дружок», это «она». Не знаю, как ее зовут…

Я стал собирать что-то, оставшееся на столе.

— Не приваживай, — остановила меня мать. — У нее ошейник, значит, есть хозяин. Да и вообще она, кажется, в порядке, не голодна.

В самом деле, не за подачкой же она явилась!

Собака встретила меня так, будто оказалась тут чисто случайно, она смущалась и не знала, можно ли выказать радость или все-таки лучше держать расстояние?

— Ты что пришла, дурёха? Сегодня рыбачить не будем… Купаться пойдешь?

По тону она все поняла, «улыбнулась», шаловливо ткнулась холодным носом в руку и облегченно поскакала вперед, оглядываясь, чтобы сверить направление.

На пруду никого не было. Стоял конец августа, Илья-пророк давно уже «капнул» в воду, остудил ее застрожавшими утренниками, купальный сезон, по народной примете, кончился, и мальчишки теперь если появлялись, то ближе

к полудню.

Взбив коленями брызги, я вбежал в воду, а собака осталась. Она затосковала, растерянно заметалась по берегу. Может, она не знала воды? Я посвистел, настоял, и она решилась: прыгнула задрав нос, забарабанила лапами, но быстро успокоилась и уверенно поплыла за мной. На противоположном берегу она отряхнулась, обдав меня душем, и стала носиться по лужку, всхолмленному свежими кротовинами. Купание вызвало в ней прилив сил. Запыхавшись, она повалилась в траву, чтобы просушиться, поездить на спине, смешно дрыгая ногами, светлея животом с темными сосцами.

С пруда мы возвращались уже друзьями. Она не стеснялась заигрывать со мной, подставляя руке голову и, расшалившись, даже попыталась вскинуться мне на грудь лапами.

— Не надо, — снова остановила меня мать, когда я хотел отрезать собаке ломоть хлеба. — Зачем приучать ее к нашему дому?

Я узнал, как ее зовут, когда начались занятия в школе. Стоял ласковый солнечный день бабьего лета, показавшийся особенно радостным после надоевших уроков в сумрачном классе. Мы высыпали на улицу, и я увидел знакомую овчарку. Как

она тут оказалась? Случайно или кого-то ждала?

— Вальда! Вальда! — закричали мальчишки. — Ты чего тут делаешь?

Значит, Вальда… Мальчишки тоже знали собаку, знали лучше меня, им известна даже ее кличка…

— А чья она? — Неожиданно для себя я почувствовал ревность..

— Да Стребцовых! На нашей улице живут. Знаешь небось…

«Стребцов», братьев-погодков Пеку и Лёку, я немножко знал, они учились в другой школе, у пожарки.

— Вальда!

Но собака лишь вежливо «улыбнулась» соседям по улице и метнулась ко мне. Неужели она «вычислила», что меня можно встретить здесь?

Я бросил дома портфель, и мы закатились куда глаза глядят: на пруд, на обобранные за прудом огороды, в задичавший сад… Порыжелые камыши накрывали, будто накидывали сеть, стабунившиеся скворцы, летела паутина, белое сентябрьское небо изливало мягкое тепло, шуршала под ногами опавшая листва яблонь — лето уходило, прощалось, дарило последние погожие деньки. Возбужденная, озабоченная, деятельная

Вальда вынюхивала что-то в кучках ботвы, сопела у мышиных ходов и кротовин, принималась раскапывать картофельные гряды или играла с какой-нибудь кочерыжкой: ловила ее на лету и предлагала отнять у нее игрушку. Я теребил из тёрки потраченного скворцами подсолнуха оставшиеся семечки, изредка заговаривал с собакой — лучшего спутника нельзя было пожелать: ничего не нужно объяснять, куда и зачем идем, выдумывать какую-то цель нашей прогулки…

Вальда наведывалась к нам все чаще, иногда оставалась и ночевать на дворе под стогом сена. Возле школы она меня больше не встречала. Около двух я обычно бывал дома, она поняла это и ждала моего возвращения у калитки. Задолго до поворота на свою улицу я свистел — и Вальда мчалась на свист, выворачивала из-за угла на пустырь с голыми футбольными воротами, на махах пересекала поле и с разгона вскидывалась на грудь лапами, скулила от радости и норовила лизнуть в лицо.

В наших ребячьих дворовых играх появился новый участник — Вальда. Она носилась вслед за нами, когда мы играли в лапту, кидалась за отлетевшим «чижом», путалась меж нами на футбольном поле. Когда я боролся с кем-нибудь

из мальчишек, она тут же вступалась за меня, отбивала «обидчика». Мои дружки поддразнивали собаку, разыгрывали нападения, — она понимала, что это не всерьез, и так же шутливо, с «улыбкой», но все равно защищала меня. И мне льстила такая привязанность собаки, ее внезапная, необъяснимая любовь.

Чем я заслужил такое чувство? У Стребцовых собаку как будто бы не обижали, у нее в углу двора была конура, через двор тянулась проволока-рыскало, позволявшая ей бегать. Время от времени ее, по-видимому, спускали с привязи, иначе как бы она могла навещать нас? Или сама ухитрялась как-то освободиться?

Теперь-то, мне кажется, я догадываюсь, что выбитый скотиной, огороженный высоким глухим забором двор, рыскало, общество кур — все это до чертиков наскучило Вальде, и ее влекло, неудержимо влекло к тому новому, что наполняло мир за пределами двора. Дружба со мной помогала ей, наверное, как-то насытить эту ее любознательность. Она с удовольствием разделяла все мои затеи. Ее веселые ореховые глаза все время следили за мной, стараясь понять, что я собираюсь предпринять, нетерпеливо подталкивали: ну, давай же, давай что-то делать! Куда пойдем, чем

займемся? Ну, предлагай же! Мне передавалось ее настроение, я заражался им и тоже был готов носиться с нею кругами, барахтаться в траве…

Доверяясь мне, полагаясь на мою помощь, она смело карабкалась через заборы, одолевала чердачную лестницу, взбиралась на крышу сарая, усыпанную опавшими грушами-дичками. Отсюда, сверху, знакомые предметы представали необычно, далеко открывалась улица с прохожими и повозками. Собаку это занимало, она бродила по крыше, принюхивалась к щелям, заглядывала с края на бродивших внизу кур, а завидев моих отца или мать, «улыбалась» издали, прикладывала уши и помахивала толстым хвостом.

С наступлением зимы мы с Вальдой уходили в степь, я на лыжах лазал по забитым снегом тростникам пруда, добирались до пустующего пригона, под навесом которого летом ночевал табун лошадей, сворачивали к скирдам зимующей соломы. В одоньях[20] вывезенной скирды можно было, сняв лыжи, повозиться. Вальда с удовольствием принимала игру, радостно носилась по остаткам скользкой соломы.

---

[20] Примечания: 20

Одо́нья — остатки сена (соломы) от вывезенного стога, подгнившие у земли и перемешанные со снегом.

Во второй половине зимы, когда степные дороги укатались до блеска, когда унастившийся под ветрами снег стал держать собаку, я сделал Вальде шлейку, постромки, и у меня появился собственный «выезд». Она нисколько не возражала против запряжки. Я разгонялся, помогал ей палками, и сильная собака легко тащила меня по звонкому смуглому насту. Сколько хватало глаз, впереди лежала залитая солнцем степь, темнела полоска дальнего пригона, расчерченная белеными кирпичными столбами, внизу над тростником, будто огромные шары кружевного перекати-поля, сквозили вётлы. Мы упивались простором, скоростью, легким морозным воздухом.

Однажды мы наткнулись на зайца. Он вырос вдруг из снегового надува[21] и покатил над застругами[22], забирая по дуге, то наставляя, то снова прижимая уши. Я успел отпустить постромки. Распластавшись над снегом, Вальда пустилась за русаком. Постромки, как ленты танцовщицы, свивались кольцами, вихрили

---

[21] Примечания: 21

Наду́в — нанесенный ветром снег, обычно у какого-либо препятствия.

[22] Примечания: 22

Застру́ги — уплотненный ветром в полях наст в виде небольших гребней.

снежную пыль. В горле собаки бились задавленные жалобные всхлипы: может, действительно, у нее в роду были гончаки и кровь предков взыграла при встрече с зайцем? Русак быстро «отрос», как говорят охотники, понял, что опасности нет, сбавил ход и начал играть: «встраивать» ногами, подпрыгивать и наклоняться на бегу то в одну, то в другую сторону.

Потеряв русака из виду, Вальда вернулась, наскоро обнюхала его лёжку с чуть подтаявшими следами лапок и метнулась ко мне делиться впечатлениями. Глаза ее горели, на губах обсыхала слюна, она шумно дышала, вывалив язык. «Надо же! — говорил, казалось, ее вид. — Оказывается, есть и такое, нечто лопоухое, куцехвостое, пучеглазое! Смех, да и только! А какого задал стрекача! И так раздражающе пахнет…»

Неразлучные «стребцы», Пека и Лёка, выяснили, куда исчезает их собака, и несколько раз приходили за ней. Увидев их впервые у нашего дома, Вальда встретила хозяев радостно, не чувствуя за собой вины, но получила выволочку. После этого, завидев братьев, она тупилась, сникала и уходила неохотно, что вызывало еще большее их раздражение и более сердитые тумаки.

В очередной раз «стребцы» явились за Вальдой, когда мы с нею, забравшись на сарай, сбрасывали с крыши снег. Давно прошел солнцеворот, дело шло к весне, в ветвях старой груши «пилила зиму» синичка, внизу на пригреве томно постанывали куры, у дровяных козел обтаяли опилки, сад расчертился синими тенями. Распахнувшись, сбив треух на макушку, наслаждаясь лившимся из бездонной сини солнцем, я вырубал лопатой куб толстого снега, сдвигал его на край, и он ухал вниз, выдыхая накопившуюся стужу. Жаль, мало уже оставалось снега на крыше…

Я заметил, как «сконфузилась», сжалась Вальда, оглянулся и увидел у калитки «стребцов».

— Ну-ка, иди сюда!

Вальда растерянно смотрела вниз, нерешительно шевельнула хвостом и не тронулась с места.

— А ну, иди ко мне! Ишь забралась… паскуда! Скинь ее оттуда!

— Чего ее скидывать — сама спрыгнет. Зови!

Но собака не шла. Чувствовала, наверное, свою недосягаемость на крыше. Я столкнул последний куб, спрыгнул в сброшенный снег. Вслед за мной махнула Вальда.

— Ты когда кончишь переманивать собаку? — с угрозой надвинулся старший, Пека.

— Кто ее переманивает? Я не привязываю, она сама… Забирай.

В чужом дворе братья выяснять отношения не решились.

— Лучше бы совсем украл, чем так… — пробормотал Пека, пристегивая поводок.

Мне вдруг стало весело. Я восторжествовал. Я понял «стребцов»: им не так обидно потерять собаку, как испытать унижение отвергнутых. Одно — потерять собаку, но еще горше лишиться ее любви и привязанности! И этот выбор она, Вальда, сделала сама. Я смотрел вслед удалявшимся братьям, сдерживая чувство торжествующего превосходства. Вальда шла сопротивляясь и оглядываясь, ошейник ершил шерсть, упирался в уши. Вот захочу, свистну сейчас — и она сорвется, прибежит, облапит. Она не хочет идти с ними. Но ведь они все равно заберут ее, только поддадут ей еще пинков. Это их собака. Но она все равно вернется, вернется!

Спустя неделю Вальда снова появилась у нас. Как она освободилась от цепи? Кольцо для «баранчика» на ошейнике было вырвано. У Вальды хватило сил разогнуть кованое кольцо.

…«Стребцы» нагнали меня после уроков на пустынном футбольном поле. В полдень рас-

пустило, сверкала проточившая утоптанную тропинку талая вода. Я услышал за спиной хруст ледяных черепков под торопливыми шагами, обернулся — намерение братьев не оставляло сомнений. Дать дёру? Но уже поздно… И стыдно. Даже перед Вальдой как-то стыдно. Однако она должна быть дома, ждет, как всегда…

Я успел отскочить, отбиться портфелем и свистнуть. «Стребцы» сбили меня с ног, навалились. Оберегая лицо от ледяной терки, я вырывался, взглядывая на угол, не покажется ли Вальда?

Да, она услышала, вывернулась из-за угла, мчится на махах ко мне. Идет помощь! Я возликовал злорадно, как ликовали мы, мальчишки, в кино, когда в самый критический момент битвы вдруг вырывалась из засады конница, несла возмездие врагам. В темном зале всегда орали, топали ногами, свистели, торопили скакавших на выручку… Да, но здесь — хозяева Вальды, как она поступит?

Вальда с налету сшибла с меня навалившихся братьев, сшибла и опешила: свои…

— Ты что, падла?! Чокнулась, что ли? А ну, пошла!

Но лишь «стребцы» снова кинулись ко мне, Вальда тут же всунулась между нами, отбила их.

Она не кусала, даже не прихватывала зубами — она не делала этого никогда, — она просто разнимала нас, не подпускала ко мне Пеку и Лёку.

— Ну ладно, с-сука! — прошипел, отдуваясь, Пека. — Придешь еще. Ты еще… получишь!

Вальда надолго исчезла. Что сделали с нею братцы-«стребцы»? Какую угрозу привели в исполнение?

Я пошел к дому Стребцовых. За высоким глухим забором было тихо. Пробрел улицей туда, обратно. Тишина. Чуть слышно присвистнул, как обычно, — во дворе загремела цепь, заскользило по рыскалу кольцо. Вальда засопела у щелей забора, заскулила — жива, слава богу! Помнит, узнала!

Но у нас она больше так и не появилась. Я снова наведался к ней, тихонько позвал ее. Но на дворе никто не откликнулся.

Мальчишки сказали мне, что Стребцовы отдали Вальду своей родне в другое, дальнее село.

Бродячие собаки

Все собаки разные. Трудно найти двух представительниц даже одной породы, которые имели бы одинаковые характеры. В этом легко убедиться — достаточно хотя бы немножко понаблюдать за поведением этих животных, их привычками, манерой есть, относиться друг к другу и человеку. В первую очередь это касается бродячих собак, сам образ жизни которых требует наивысшего проявления индивидуальных способностей, чтобы выжить.

Пожалуй, здесь нужно сказать, что следует понимать под словом «бродячие». Бродяжничество не свойственно ни одной из собачьих пород. Потребность иметь хозяина — это, наверное, единственная черта, общая для всех собак без исключения. Страсть к бродяжничеству обуревает ими очень редко. Бродячие — это ничейные собаки. Чаще всего бродяга мыкается по свету, потеряв так или иначе кров и пытаясь прибиться к дому. Если ему это не удается в течение долгого времени, бродяжничество становится привычкой. Бродячий пёс становится осмотрителен, временами дерзок и нагловат, порой фальшиво

угодлив, но всегда в глубине души подавлен своим одиночеством. Бродячий пёс лучше знает людей, не стесняющихся предстать перед ним такими, какие они есть. Ни разу не встретивший настоящего, действенного участия — иначе он не был бы бродягой! — пёс-беспризорник очень скоро познаёт истинную цену мимолетной обманчивой людской ласки. И конечно, не однажды испытав крушение надежд, зарождающихся при встрече с флиртующими сердоболием людьми, пёс недоверчиво, а скорее, презрительно слушает их сюсюканье и старается поднять брошенное печеньице не раньше, чем люди удалятся и он убедится, что никакого подвоха в этом нет.

Иногда бродяге везет: он обретает хозяина. Особой значительностью исполнено такое знакомство человека и собаки: и взгляд собаки, заронивший расположение, сочувствие и тревогу человека за ее дальнейшую судьбу; и желание помочь ей, и трезвые, вполне резонные сомнения, посильными ли окажутся те обязательства, которые будут вызваны призрением живого существа, потребующего заботы и изменения привычного распорядка будней; и тактичная терпимость к некоторым чертам характера, сложившегося в бездомной жизни; и незлобивое

терпение при исправлении возможных дурных привычек, привитых бродяжничеством…

В детстве, когда у нас в доме по тем или иным причинам не было собаки, а мой голос не имел решающего значения при разговоре о ее приобретении, я искал дружбы с бездомными собаками. Тронутый их расположением во время уличного знакомства, преисполненный чувства покровительства, я иногда зазывал их домой. Они нерешительно и напряженно входили в калитку, безошибочно догадываясь, что здесь я уже не хозяин, что дальнейшее будет зависеть от того, как обойдутся с ними взрослые. Когда на крыльцо выходила тетя Нюра, приходившая помогать по хозяйству моей больной матери, одни псы виновато повиливали хвостами и конфузились, как бы оправдываясь за то, что оказались во дворе не по своей воле, но лишь благодаря моей затее; другие настороженным, сосущим взглядом изучали руки тети Нюры, нет ли в них чего-нибудь съестного или, напротив, такого, чем можно запустить в них; третьи откровенно трусили, теряя ту смелость, которую начинали обретать с моей помощью по пути к дому, чувствовали себя очень неуютно и молча паниковали у закрытой калитки.

— Привел, — отмечала тетя Нюра тоном, который ни у одной из собак не оставлял сомнения в том, что дело снова дрянь. — Ишь нашел приятеля… Война идет, самим есть нечего, а тут еще этого оглоеда корми…

Меня не ругали. Мама увещевала, что при нашем нынешнем положении собака ни к чему. Я в душе соглашался с ее доводами, но расставаться с вновь обретенным другом было нелегко. Это отдавало предательством. Я упирался и выторговывал условия — хотя бы покормить бродягу. Тетя Нюра успевала тем временем открыть калитку, и пес с облегчением убирался подобру-поздорову. Повторно привести его почти никогда не удавалось. Но тем, кому перепадала кормежка, этого было достаточно, чтобы наведываться потом время от времени. Они слонялись против дома и заглядывали в окна.

— Вон, гляди-кась, опять твои дружки тебя поджидают, — указывала на окно тетя Нюра кивком головы, и это могло относиться как к мальчишкам, так и к собакам.

Самое представительное сообщество бродячих собак держалось возле нашей совхозной пекарни. Встретившись с друзьями-мальчишками у пустого хлебного ларька, мы шли к пекарне и

ждали, когда голубая фанерная будка, запиравшаяся на висячий замок, будет загружена теплыми аппетитными буханками. Потом мы следовали за хлебовозкой в струе великолепного запаха свежевыпеченного хлеба, за нами тянулись до самого магазина собаки. Тем, кто помогал разгружать, хлеб выдавался без очереди. Выстроившись цепочкой, мы с рук на руки передавали в окошечко ларька увесистые приятно-шершавые кирпичи.

У ларька собакам перепадало редко. Они возвращались к пекарне, стоявшей в облаке хлебного духа. Рабочий пекарни Ваня Кадет колол дрова. Это был самый сильный человек, которого мне когда-либо приходилось встречать. Неосторожно распорядившись своей силой, он в сердцах убил когда-то человека, обманувшего его. Происшедшее так потрясло Ваню, что он тронулся умом. К пекарне свозили самые узластые и крученые пни, всё, что не могло пойти в другие печки.

Собаки располагались в стороне и опасливо жались, когда из-под Ваниного колуна отлетали, кувыркаясь, корявые поленья. Собаки любили Ваню, хотя он никогда не обращал на них особого внимания, как и на людей, — он был всецело занят какими-то своими мыслями, клубившимися в его затуманенном мозгу. Богатырская работа

распаляла Ваню. Расправившись с пнями, он брал на плечо кувалду и уходил на середину замерзшего озера. Там он колотил своим пудовым «понедельником» по льду и долго слушал склонив голову, как широко и гулко раскатывался по озеру отзвук. Собаки на лед не ходили, они садились на берегу, смотрели, слушали и ждали.

Кормила беспризорных собак тетя Шура, пекарь, мать моего одноклассника Петьки Семерешко, крупная и тяжелая на ногу, распаренная, сырая женщина. Утирая плечом капли пота на кончике носа, она выносила обмывки дёж[23] и пекарский брак — непропеки, «глёки»[24]и сгоревшие в уголь корки, делила это богатство по старым хлебным формам и ждала, пока подъест свое Скалка, самая медлительная старая сука с выпуклыми натужными глазами, давшая жизнь едва ли не половине беспризорной компании. Забыв об этом, более проворные молодые потомки обижали ее, могли отнять хлёбово.

Тетя Шура была общей кормилицей; с Ваней собаки проводили время между кормёжкой и

---

[23] Примечания: 23

Дёжа — сосуд для замеса большого количества теста, обычно в пекарнях.

[24] Примечания: 24

Глёки — клеклое, непропеченное тесто в хлебе.

посещением ларька; я был их провожатым во время лыжных вылазок в степь. Без меня собаки за пределы усадьбы не отлучались. В мартовские дни, с их томительным покоем залитых солнцем полей, застывших в ожидании скорых перемен, я уходил к дальним омётам[25]. Завидев меня с лыжами на плече, собаки покидали угретые лёжки и следовали за мной.

Заждавшись такой прогулки, молодые Свояк, Дамка и Курпяк, кудлатый от закатавшихся репьев, вперегонки мчались вперед, игриво покусывая друг друга. Более степенные Кум и Каблук трусили поодаль, беззлобно отмахиваясь от заигрываний младших. Хан, с обрезанными ушами и обрубленным хвостом, утвердившийся во главе собачьего общества благодаря своему дерзкому и склочному характеру, бежал среди стаи, вызывающе-раздраженный, готовый к немедленному наказанию любого, кто преступит границу установившихся отношений. Его не задевали. Молодые, забывчиво выскакивавшие во время игры к Хану, никли и отходили прочь. Последней одышливо плелась по лыжне Скалка,

---

[25] Примечания: 25

Оме́т — аккуратно сложенное и утрамбованное сено, оставленное на зиму в полях, чтобы вывезти его по санному пути. Другое название — скирд, скирда.

печальная, как бы навсегда погруженная в свои воспоминания о неоднократных расправах над ее новорожденными детьми, которые на ее глазах чинил с помощью помойного ведра хлебовозчик Тимофеич. Неровная дорожка следов собак и лыж тянулась через смуглые насты и сыпучие косицы переметенного снега.

Почувствовав волю, хватанув раздутыми ноздрями легкое дуновение степного ветерка, Мишка, державшийся, по обыкновению, позади, начинал хитрить: делал вид, что его заинтересовал столбик на меже или чьи-то следы, долго что-то вынюхивал, без нужды задирал лапу и всячески старался отстать. Отбившись, он трусил куда-то в сторону и терялся в степи. На обратном пути неизменно догонял нас и бежал в сторонке. Пёс был отрешен, замкнут и находился как бы под впечатлением увиденного, под властью чувств, им владевших. Будь Мишка человеком, можно было бы предположить, что он ищет уединения, чтобы попеть или подекламировать стихи.

Степной зимник приводит к одоньям вывезенных омётов соломы. Я втыкаю лыжи в сугроб ходовой стороной к солнцу и падаю спиной в солому, раскинув крестом руки. В одоньях начинается охота на мышей — то, ради чего собаки

идут со мной в поля. Все, кроме Мишки, который находит в степи что-то свое и мышиным промыслом не интересуется.

Земля ощутимо плывет подо мной в своем круговращении, солнце упирается лучами в лицо и просвечивает сомкнутые веки красным. Весна красна… Все исполнено ее ожиданием: земля, открывшая продухи[26] проталин, тронувшиеся в рост почки осин, тополей и берез в лесозащитной полосе, собаки, раздувающие влажные ноздри навстречу степному ветерку…

Стая охвачена азартным мышкованием. Собаки разрывают перебитые в труху одонья, сопят и вынюхивают, раздувая щеки, толстых полёвок. То тут, то там выскакивают и снова ныряют в солому мыши. За ними кидаются, сталкиваясь, собаки. Каждая из них охотится по-своему. Тонкая, стройная Дамка нетерпеливо взлаивает, разрывая жгуты мышиных утоптанных ходов. Скалка в стороне замерла в засаде — ждет, когда перепуганная мышь сама выскочит на нее. Криволапый грудастый Каблук, кем-то прозванный так за сходство с комендантом усадьбы Каблуковым, мышей не ест. Он кладет задушенную полёвку

[26] Примечания: 26

Про́духи — отверстия в фундаменте избы, служащие для проветривания погреба; здесь: открывшиеся поры земли.

и нехотя, лишь за компанию, продолжает охоту. Догадавшись, что Каблук опять отказывается от своей добычи, ее подбирает Скалка, внимательно следящая за Каблуком. Лохматый клокастый Курпяк зарывается в солому до ушей и дергает там головой, гребет солому теменем, добираясь до мыши.

Охотничий раж овладевает стаей. Разномастные, разноростные собаки разбрасывают лапами шумную скользкую солому, мечутся по одоньям и поругиваются между собой. Мне приходится охлаждать драчунов, грозя лыжной палкой. В дворнягах просыпается древний инстинкт добытчиков. Мышиная колония, безбедно перезимовавшая в теплом омёте, охвачена паникой. Но вот охота постепенно слабеет, заканчивается…

Я сейчас определенно могу сказать, что многие черты людей постигал тогда в характерах собак. Верность и благородство, угодничество и трусость, степенность и чувство собственного достоинства, изворотливость и ловкачество, жадность, жуликоватость, приспособленчество и бахвальство — все эти черты, которые таятся в глубине людских душ и обнажаются лишь в самых острых жизненных ситуациях, у собак

проступают явственно и открыто.

Почему, например, только Кумом овладевает беспокойство, когда я долго лежу неподвижно, с закрытыми глазами раскинувшись на соломе? Он подходит, нависает надо мной и вглядывается в меня пристально и тревожно. Я наблюдаю за ним в щелочку глаза. В его взоре напряженное волнение. Меня занимает его поведение, я таю дыхание и замираю. Псу становится невмоготу. Он придвигается вплотную, втягивает носом воздух и поскуливает чуть слышно, постанывает тоскливо и жалобно. О чем думает в это время пёс, какие воспоминания оживают в его душе? Не потому ли он оказался среди беспризорников, что заглянул когда-то в лицо хозяина, увидел его закрытые глаза и не дождался, чтобы они открылись?

Собаки очень памятливы. Если так было, навсегда остался в собачьем сердце страх при виде неподвижно лежащего человека, его полупрозрачных и синеватых, как птичья пленка, век. Мне не верится, что со мной может быть такое. Мои просвеченные солнцем веки подрагивали. Но мне становится не по себе от собачьей тоски. Я резко вскакиваю, делаю вид, что хочу словить Кума. Он увертывается, кидается облегченно в

сторону. Им овладевает восторг. Он припадает на передние лапы, наскакивает на меня и носится кругами. Сытые, отдохнувшие собаки присоединяются к этой игре. Они наваливаются на меня, щекотно тычутся холодными мокрыми носами в уши и шею. На степном свежем воздухе резче пахнет псиной их клокастая, неухоженная шерсть, пахнет снегом и зимним ветром холодная солома.

Увлекшись игрой, собаки забывают обо мне. Они носятся друг за другом, расшвыривают одонья, западают в них, шарахаются в сторону и с готовностью падают на спину, отбиваясь лапами и склабясь, хохоча беззвучно от щекотки, когда напавший роется зубами в шерсти на груди и под мышками. Им тесен омёт. Они выскакивают на снег и широкими кругами вытаптывают поле, проваливаясь в наносах и взламывая смуглую скорлупу наста. Сварливо, по-бабьи огрызается Хан, когда кто-нибудь наскакивает на него. В клокастую шубу Курпяка набились снег и солома, он похож на белого медведя, побывавшего в угольной яме. Снег на нем долго не тает. Молодые охотно отваливаются, предоставляя старшим возможность поприхватывать себя зубами. Легко, по-русачьи выбрасывая вперед задние ноги,

кружится, ловко увертывается от собак поджарая Дамка. Тихо шурша соломой, ко мне подходит Скалка. Эта возня ей не по силам. В смутной тоске по утраченной молодости ей нужно утешение. Я глажу ее по темени, и она замирает благодарно, вздыхая, поглядывая темными выпуклыми глазами страдалицы на меня и расшалившихся собак.

Солнце сваливается к закату. Мы возвращаемся по жестким, багровеющим застругам к усадьбе, неторопливо курящейся сизыми и розоватыми дымами. В застругах и наносах бегут, ломаясь, длинные, несуразные тени собак. Жесткий наст сохраняет лишь отпечатки их когтей.

Как всегда, на обратном пути нас нагоняет Мишка. Его желтые глаза мечтательны и восторженно-рассеянны, как после свидания.

Он молча трусит стороной и избегает прямых взглядов.

Мешаясь с устойчивым хлебным духом, у пекарни стоит запах вытаявших на пригреве смолистых щепок, по краю шиферной крыши растут зубья сосулек. В усадьбе сильнее чувствуется, как заметно приблизил весну еще один прошедший мартовский день.

Ваня Кадет сидит в узластом пне, умостившись среди его корней, вытянув ноги в безносых

башмаках. После безуспешных попыток надеть ботинки, бесплатно выписанные ему со склада, самые большие из имевшихся, он отрезал им носы и просунул в дыры пальцы, обутые в овчинные рукавицы, — первые мужские босоножки, которые привелось мне видеть. Соскучившись за день по собакам, Ваня делает им знаки приблизиться, но они, повиляв хвостами, разбредаются по привычным лёжкам. К нему подходит лишь Скалка. Сжав зубы, Ваня со скрытым чувством гладит ее огромной, тяжелой ладонью, натягивая ей кожу на лбу и тараща собаке и без того выпуклые, с кровянистым белком глаза.

Каждый такой выход в компании собак всегда что-то открывал в мире, где так много еще предстояло постигать. Собаки помогали мне в этом. Не будет преувеличением, если я скажу, что они помогали мне в этом всю жизнь. Собака для человека как мостик, соединяющий его с живым миром. Или как окно, позволяющее заглянуть в этот мир и получить о нем представление, не выходя за черту своей привычной, чаще всего оторванной от него жизни. Ни одно из домашних животных не дает человеку такой возможности: все они более примитивны эмоционально, покорены человеком против их воли и не испытывают

к нему такой привязанности и всепрощающей любви. И может быть, потому, что собака никуда не денется, человек никому не отказывает так часто в крыше над головой, как ей. Вряд ли можно встретить бездомных коз или поросят, в то время как собак-беспризорников — сколько угодно.

И сейчас в нашем городском дворе живут несколько ничейных собак. Они сбились в общину, существуя за счет подачек и громадной помойки в углу двора. В собачьей общине, как всегда, сложились устойчивые взаимоотношения. Верховодит в ней Капрал, большой белый пес в черных очках, похожий на крупную оленегонную лайку. Добродушие Капрала в отношениях с людьми, особенно с детьми, сочетается с редким деспотизмом по отношению к сородичам. Каждому новичку он задает такую трёпку, что в дальнейшем тот должен, как только Капрал обратит на него свое внимание, сбавить ход, потупиться или совсем лечь на спину — лежачих Капрал не бьет.

Человека с помойным ведром первым сопровождает Капрал. Выбрав самое вкусное, он выпрыгивает из помойки, предоставив ее другим.

Некоторых из собак я иногда зазываю в гости. Капрал долго стоит перед раскрытой дверью,

выслушивая приглашения и помахивая хвостом, потом с достоинством входит и ложится. У него такой вид, будто ему ни до чего сейчас нет дела. Он даже позевывает, настолько ему все безразлично, и смотрит в сторону. Я режу колбасу, зову его — он помахивает хвостом, не поворачивая головы. Потом степенно подходит и не спеша берет угощение. У него веселые глаза, и жует он с улыбкой.

Байкал, невообразимая помесь всех существующих пород, — из чего нетрудно заключить, что в роду его не одно поколение было «подзаборниками», — врывается в дом впереди меня и начинает — возможно, в благодарность, а вернее, чтобы скрыть смущение от непривычной обстановки, — заигрывать, покусывать за штанину, забегая то с одной, то с другой стороны. Поев, он ложится навзничь с открытыми глазами и при упоминании его имени бьет об пол толстым, как палка, хвостом.

Маленькая, вечно беременная собачка — дети прозвали ее Пузиком — идет по коридору боязливо, осторожно и деликатно, постукивая коготками лап. Ожидая подачки, она ловит каждое движение руки, и в глазах ее — напряжение, грусть и какая-то особая, материнская озабочен-

ность и тоска.

Полукровный пойнтер Фукс — «барон», опустившийся на собачье «дно». У него отвислые нижние веки, мутные, как с похмелья, глаза. Дома он тотчас начинает бесцеремонно лезть во все углы, подтверждая ту истину, что «образованный», породистый балбес наиболее несносен.

Небольшая черная собачка не имеет имени. Она отвержена и людьми, и собаками. Сколько я ни пытался завязать с ней дружбу, мне это не удавалось. Несомненно голодная, она неподкупна на еду. Как только я начинаю звать ее, она тотчас бежит, панически опасаясь обращенного на нее внимания. Эта собака знает что-то о нас больше, чем мы сами. Это вызывает внутреннее смущение и заставляет заглянуть вглубь себя. Ни разу мне не довелось слышать ее голос. На шерсти у нее нет ни одного светлого пятна, непроницаемо черны ее глаза; вместе с ее поведением это рождает мистические мысли насчет оборотней. Даже когда собаки устраиваются на ночь по лестничным площадкам всех этажей, черная собачка спит во дворе на снегу, по-волчьи уткнувшись носом в хвост.

Все собаки равны в играх с детьми. Веселой оравой они дотемна носятся вместе по двору. Только

черная собачка сидит где-нибудь в стороне, смотрит на эту возню, и в глазах ее невозможно что-либо прочесть.

Но такое добровольное отчуждение для собак все-таки не характерно: это животные компанейские, стайные. А многие из них испытывают потребность в самой настоящей дружбе. Способность дружить — несомненно, проявление интеллекта (и не только у собак). Отчаявшись подружиться с человеком, бродяги тянутся к себе подобным. Но бывает, что собак связывает дружба и с некоторыми другими животными.

Несколько лет назад на осенней охоте в знаменитом Хреновском бору, что раскинулся в пойме тихой речки Битюг, в краях, где прошли мои школьные годы, нам попались волчьи следы, рядом с которыми тянулся след небольшой собачки. Местный охотник, мой давний приятель, сказал, что натыкался на них уже не раз. Мягкая ноябрьская пороша хорошо держала отпечатки тяжелых волчьих лап и мелкую строчку собачьих следов.

Мы потропили[27] странный нарыск[28], пытаясь хоть сколько-нибудь раскрыть тайну необычного союза непримиримых врагов — волка и собаки. Зверей было два, волк и волчица. Предводительствовала, как это чаще всего бывает, волчица. Волк иногда соступал с тропы к пеньку или кочке, оставлял свои метки, возвращался на нее и, как обычно, шел след в след за волчицей. Сбоку на неизменном отстоянии от волков трусила собачка. Следы показывали, что они принадлежали суке. Волк ни разу не подходил к ней, не пытался ухаживать. Это был житейский союз, не любовный. Нарыск уходил в огромное болото, с высокими кочками, густым тростником и тальником — в Рыбинские «пропастя». Близкие сумерки заставили нас повернуть к дому, а вскоре я уехал. Что произошло с собакой? Как она могла подружиться со злейшими врагами, почему ее приняла супружеская пара волков, которых собака всегда интересует только как добыча?

Эту странную троицу пытались обкладывать,

---

[27] Примечания: 27

Тропи́ть — идти по следу зверя.

[28] Примечания: 28

Нары́ск — след лисы или волка. Охотники по-разному называют следы многих зверей: мали́к — след зайца; жи́ры — следы кормившегося, «жировавшего» зверя, например лося, чаще — зайца; двучётка — парные следы куницы, соболя и т. д.

но умная волчица уводила ее от беды. Тайна удивительной дружбы волков и собаки осталась нераскрытой.

Другой пример необычной дружбы животных мне привелось наблюдать в Приокско-террасном заповеднике. В лесу был найден ослабевший, незадолго до того появившийся на свет косулёнок. Его выкормила ощенившаяся лайка. Быстро подросшая, ставшая такого же роста, как ее кормилица, косулька продолжала сосать собаку, и та, не возражая, охотно подставляла ей сосцы. Но здесь лайка не была бродячей, она имела хозяина и жила во дворе — так же, как и косуля, панически боявшаяся всех других собак. Собаки нередко дружат с другими домашними животными или хотя бы питают к ним симпатии. Поскольку эти домашние, так называемые продуктивные, животные не бывают беспризорными, речь может идти только о собаках, имеющих дом.

Над письменным столом деда, сколько я себя помню, всегда висела в раме под стеклом большая литография, полученная когда-то как приложение то ли к «Ниве», то ли к «Охотничьему вестнику», — лошадь с жеребенком заглядывает в ясли с расположившимся в них гнездом пегих вислоухих щенят. Эта несколько сентименталь-

ная, как я теперь понимаю, картина отражала дружественные отношения, наиболее часто возникающие между животными в домашнем хозяйстве, — между лошадью и собакой. Этому способствовало совместное участие в псовых охотах, совместные поездки в ночное, в поле и на покос, за дровами, когда чужая, а тем более чуждая, враждебная обстановка — непогода, глухая местность, соседство волков — сближала собаку и лошадь, оживляла их «земляческие» чувства. При установлении подобных отношений так или иначе посредником выступает человек, их хозяин, — это он скрепляет их дружбу.

Мотивы, по которым псы-бродяги выбирают себе друга, наверное, навсегда останутся для человека тайной. В любой компании бездомников, если приглядеться, можно выделить тех, кто особенно симпатизирует друг другу. Иногда они откалываются и живут самостоятельно, довольствуясь парной дружбой.

Два таких друга-кобеля жили несколько лет назад на пустыре против нашего дома, где я гулял со своей лайкой. Крупные, размерами с овчарку, светло-палевой масти Букет и Мальчик держались участка озеленения, где их иногда подкармливали, в остальном они пробавлялись

случайным фартом. Мосластые и нескладные, особенно Букет, с исковерканным крестцом, побывавший, вероятно, под машиной, они, несмотря на свой рост, были робки от ощущения бесприютности и притравливаний «квартирных» собак, владельцы которых зачем-то стремились привить своим питомцам «бойцовские» качества; незнакомых людей они осмотрительно избегали. Верховодил в этой паре Букет, старший, по-видимому, по возрасту и более искушенный в превратностях бездомной жизни. Псы были неразлучны.

Выходя на прогулку с Пыжом, я прихватывал для них какое-нибудь угощение. Завидев нас на пустыре, дворняги наперегонки мчались ко мне, на ходу поздоровавшись с Пыжом. Простодушный, восторженный Мальчик с разлету вскидывал мне на плечи лапы, не обращая внимания на ревнивую «дежурную» ворчню Пыжа. Его голова оказывалась на уровне моего лица, и тут нужно было быть начеку, потому что он норовил лизнуть в губы. Он, как всегда, выражал свою радость открыто и бурно. Я гладил его по огромной костлявой башке, он щурил косо разрезанные длинные глаза, форме которых могла позавидовать любая модница, и по-щенячьи

смешно то ли взвизгивал, то ли икал от счастья. Приволакивая заднюю ногу, доспевал и Букет. Он крутился внизу, заискивающе и подобострастно взглядывал на меня пройдошистыми желтыми глазами. Он понимал, что Мальчик опять оказался ближе к руке «дающей», и его мысли сейчас были направлены на то, чтобы при делёжке угощения не зевнуть свое. Мокрым холодным носом он «расковыривал» мне руку, чтобы убедиться, что в ней есть что-то и для него. Но тут, заметив эту сцену непозволительной близости, Пыж не выдерживал и мчался напомнить о своем преимущественном праве обладания хозяином, оттирал Мальчика, и угощение по справедливости делилось на троих.

В зимний поздний час заснеженный овражистый пустырь безлюден и тих — можно петь, вспоминать вслух стихи или выискивать в небе знакомые созвездия. Мы держали путь по оврагу вчетвером. Всё еще пребывая в радостном подъеме от встречи и полученной ласки, Букет и Мальчик носились, оскользываясь на оглаженных мальчишками откосах оврага, сталкивались, возились и скоморошничали, и нельзя было без улыбки смотреть на их парную клоунаду с погоней, тумаками и кульбитами.

Пыж, по обыкновению, был занят следами и запахами, участие в возне принимал редко и держался по отношению к Мальчику и Букету как дядька, ворчливо, но беззлобно следящий за тем, чтобы они не преступали границы дозволенного. Черный Пыж был далеко виден на лунном снегу. Палево-белые, без единого пятнышка дворняги под луной казались дымчато-голубыми. Они скакали по склонам, как призраки, и более четко, чем они сами, были видны их легкие, скользящие тени. Собаки то и дело заворачивали ко мне, хотели вовлечь в игру, и мне приходилось выбирать позицию, чтобы не быть сбитым с ног расшалившимся Мальчиком.

Голубые собаки! Я вспоминаю знакомую, жаловавшуюся по телефону на нехватку положительных эмоций, и понимаю как, в сущности, немного нужно человеку, чтобы восполнить этот недостаток…

Оставив дворняг у забора участка озеленения, я уходил от них и чувствовал спиной их тоскливый сверлящий взгляд. С сознанием вины перед всеми собаками-беспризорниками, отвергнутыми людьми, я шел как по струне, боясь оглянуться или махнуть рукой, — Мальчику и Букету этого движения было бы достаточно, чтобы они при-

няли его как знак следовать за мной, и кинулись вдогонку.

Мне приводилось встречать этих друзей-бродяг в самых разных местах нашей округи. Они терпеливо стояли где-нибудь на обочине заполненного мчавшимися машинами проспекта, выжидая, когда разорвется их поток, и расчетливо пересекали магистраль. В таких случаях Мальчик целиком вверялся другу, имевшему горький опыт, и не совался прежде его на проезжую часть. Я старался скрыться с их глаз, остаться незамеченным, чтобы собаки не кинулись ко мне, забыв о машинах.

Опасность подстерегала их не только на дороге. В округе время от времени ловцы-собачники делали облавы, нагло прихватывая иногда не только бездомных, но и хозяйских псов. Осмотрительные приятели-беспризорники счастливо избегали живодёрки. Так жили они года три, а потом исчезли. Возможно, какая-то из облав стала для них роковой…

Есть много способов приобрести себе собаку. Можно сделать это через общества кровного собаководства. Можно попросить оставить щенка от собаки, принадлежащей знакомым. В конце концов, можно просто купить его на Птичьем рынке. Но надо глубоко осознавать всю меру

своей ответственности за судьбу приобретаемого живого существа. Городское квартирное содержание собаки, когда она неизбежно становится членом семьи, влечет за собой очень много забот, посильных лишь подлинной, но никак не кажущейся к ней любви. Меняется весь уклад жизни: ранний подъем для утренней прогулки в любую погоду, незамедлительное возвращение домой после работы к сидящему взаперти псу, выгул его на сон грядущий, заботы о собачьей еде, профилактических прививках, выезд за город в летнее жаркое время, совместный отпуск, осложнения в дальней дороге…

Тягу к собаке усиливает урбанизация современной жизни, насыщенность ее техникой, отрыв от природы, от общения с животными. Все это объяснимо и вполне понятно. Но иногда приобретение собаки вызывается желанием подражать тем, кто ее имеет, модой на собак. А легковесной моде не под силу жертвы, связанные с появлением в доме животного. Там, где жизнь требует самоотречения, где дело касается души, мода пасует. Собака становится обузой. От нее стараются избавиться, обставив это по возможности «красиво» и безболезненно.

Однажды летней ночью нас разбудил щенячий

плач, доносившийся в открытое окно с пустыря напротив. Плач то затихал, то возобновлялся. Стало ясно, что уснуть не удастся. Вооружившись фонариком, мы спустились на пустырь. К перевернутому набок ящику был привязан черный щенок. В ящике со сбитой подстилкой валялся хлеб, консервная банка с водой была опрокинута запутавшимся щенком. Как он оказался тут, на пустыре? Вероятнее всего, по настоянию родителей его отнес ребенок, пытавшийся подстилкой, хлебом и водой не столько создать условия подкидышу, сколько утешить в себе разъедающее ощущение вины за предательство. Не позавидуешь состоянию человека, уговаривающего себя примириться с этим чувством, уходящего от обманутой и брошенной собаки.

На другой же день нам посчастливилось — как и щенку, конечно, — передать его в добрые, заботливые руки. Счастлив был и наш Пыж, встретивший появление в доме второй собаки молчаливой мучительной ревностью и раздумьями о собственной дальнейшей судьбе.

Щенок-подкидыш, превратившийся в ладную веселую собачку, доставлявшую своим хозяевам много радостных минут, в течение нескольких лет встречался нам на пустыре.

Особенно много обязательств выдвигает перед хозяином приобретение породистого щенка. Оформление родословной, участие в выводках и выставках, обучение, натаска, дрессировка, «профессиональные» испытания, подбор пары при плановых вязках, грамотное содержание, ответственность перед чистокровным представителем породы — ко всему этому владелец должен быть готов. Для специалистов-кинологов и подлинных любителей, ценителей собак, это не в тягость. Но нередко и здесь сказывается мода, а чаще того — элементарное людское тщеславие: «если это моя собака, она должна быть именитой и престижной». Такой собакой и ее родословной хвастают наряду с карьерными успехами и приобретенной иномаркой. Однако тщеславие, как и приверженность моде, — фундамент непрочный. Родовитые обладатели кичливых паспортов часто вырастают балбесами: для их образования владельцам не хватает ни желания, ни терпения, и порой эти собаки попадают в конце концов в компанию бездомных псов.

К счастью, истинных любителей собак, независимо от их родовитости и престижности, куда больше, чем профессионалов-кинологов и хлопотливых устроителей своего имиджа. И если вам

нужна просто собака, живая душа и преданный друг, можно приютить бездомного пса. Все прекрасно в таком непредугаданном союзе: и мудрое недоверие животного, порожденное его жизненным опытом, в ответ на ваши первые жесты внимания; и робкая надежда обрести — наконец-то! — хозяина, затеплившаяся в собачьем взгляде; и откровенная радость, когда эта надежда сменится уверенностью; и взаимное узнование друг друга на пути к тому доверию, которое должно стать непогрешимым и несомненным; и та привязанность, которой, оказывается, вам очень давно и остро не хватало.

Собака, испытавшая тоску одиночества и мытарства бездомной жизни, никогда не забудет о них. Всегда в душе бывшего бродяги будет скрытно жить опасение потерять хозяина — в отличие от тех инфантов благородных кровей, которые считают всеобщее обожание и уход единственно возможным условием жизни.

Но дело не только в памяти собаки, хранящей черты бывшего бесприютного существования. Став хозяином бродячей собаки, вы будете отмечены особой привязанностью, которая не находила удовлетворения во время ее скитаний. Ведь потребность в человеке — друге, хозяине

— постоянная, основная черта характера собаки, отличающая ее от других животных.

У Киплинга есть рассказ «Кошка, которая гуляла сама по себе». Кошки по натуре независимы, и если они даже не выходят за порог и спят в кресле, все равно в душе «гуляют сами по себе».

Бездомных собак не меньше, чем кошек. Но сказать так о собаке писатель никогда не смог бы, потому что это была бы неправда.

Дружба, зародившаяся между бродягой собакой и человеком, затрагивает и в человеческой душе новые, дремавшие до поры чувства. Они крепнут на пути от первого взгляда на бродячую собаку, вызвавшую сострадание, до решения стать ее хозяином и поднимают человека ступенькой выше, откуда ему могут открыться новые, порой неожиданные для него стороны жизни.

Муха

Муха была из тех собак, которых принято называть дворняжками. Она не умела делать красивых стоек по дичи, которыми славятся охотничьи подружейные собаки, и не проходила науки караульной службы. Может быть, в ее роду и были славные имена, но люди не знали их, потому что за родословной дворняжек никто не следит.

Муха была черной масти, невелика ростом и неказиста. У нее было крутобокое, широкогрудое туловище на толстых и кривых лапах с нависшими коленками, лобастая голова, выпуклые темные глаза и большие, стоявшие торчком и чуть в стороны уши. Загнутый баранкой хвост имел желтую изнанку, желтыми были также грудь, «чулки» на ногах, щеки и смешные маленькие бровки, из которых росли редкие, длинные и жесткие волосы.



Муха родилась в шумном морском порту. Ни дома, ни хозяина у нее не было. С детства единственными ее друзьями были старый сторож, по фамилии Сафонов, и его ленивый, трусоватый пёс Уголёк. В людном порту Муху знали почти все, но одни не обращали на нее внимания, а другие относились не всегда одинаково: они то ласкали и давали что-нибудь вкусное, то вдруг кричали и отгоняли ее, чтобы не путалась под ногами.

Весь день в порту шумел и кричал народ, сигналили грузовики и автопогрузчики, ловко укладывавшие всевозможные тюки и ящики, громыхали якорными цепями швартующиеся к причалам большие корабли. Высоко над трюмами кораблей поворачивались неторопливые стрелы кранов, а внизу мимо складов шли с тяжелыми чемоданами пассажиры. Иногда вместе с людьми приплывала, сходила с парохода собака. Ее вели на поводке. Выхоленная, натосковавшаяся на пароходе по земле, собака натягивала поводок, тянулась понюхаться с Мухой, но Муха не обращала на нее внимания и рассеянно, привычно смотрела на поток людей.

К ночи порт затихал, и приходил сторож Сафонов. Это были лучшие часы Мухи. Ревниво оттеснив от сторожа черного Уголька, она сади-

лась подле Сафонова. Привалившись спиной к стене пакгауза, сторож курил и поглаживал заскорузлой ладонью Мухину голову. Мухе это было невыразимо приятно, но она не показывала вида и сидела тихо, мечтательно глядя увлажнившимися глазами на бухту. От воды несло холодком, наплывал туман. Пахло обнажившимися в отлив водорослями. Далеко разносилось по тихим сопкам и глади бухты радио с парохода.

— Эх вы, собаки, собаки! — говорил сторож, когда ему наскучивало сидеть молча. — Хоть и бессловесные вы создания, а все же с вами веселее!

Сафонов гладил собак, затягивался, освещая лицо папиросой, и кашлял. Обрадованный вниманием, Уголёк срывался с места, ластился к сторожу, вставал на его колени, тянулся к лицу.

— Ну-ну, будет тебе, баловник! Ишь ты! — отмахивался, ворчал старик.

Но Уголёк все лез, пока сторож не цыкал на него всерьез.

Муха не одобряла таких ласк Уголька. Пережив еще один день, подстерегавший ее на каждом шагу опасностями, она тоже была рада сторожу, но никогда не посмела бы так нескромно выражать свои чувства. Как бы невзначай она прижима-

лась к его ноге, и ей приятно было чувствовать человечье тепло.

— Вот — поет! — говорил сторож про радио. — Надоть же выдумать такое: в самой Москве поет эта певица, и ей небось и в голову прийти не может, что здесь, на Камчатке, мы ее слушаем!

Сафонов тушил окурок и запахивался в просторный брезентовый плащ.

Тихо пронося в темноте мачтовые огни, пошумливая машиной, в бухту входили суда. Их встречал верткий, обвешанный старыми автопокрышками, портовый катер-буксир, подводил к причалам и помогал швартоваться.

— Вишь, сухогруз подошел... — замечал Сафонов. — А вон, видать, рыбак пошел по рыбу... Тяжелая у него работа, ни днем, ни ночью нет отдыха, когда рыба идет... Мы хоть тоже не спим, да на берегу. Только наша профессия, видать, отмирающая — не будет, должно, скоро сторожей: от кого сторожить-то? И отношение сейчас к сторожу такое, словно это и не работник... А ведь, бывало, сторож был первеющей при добре фигурой!

И Сафонов вспоминал далекое время, когда он жил на Тамбовщине и караулил сады. Звездными августовскими ночами падали, глухо стукались

о землю яблоки, и в саду, в не остывшем еще от дневного солнца шалаше стоял яблочный дух. В сопровождении широкоспинных, медлительных, злобных псов он обходил белевшие стволами деревья, прислушивался к звукам дальней гармоники, к частушкам девчат, а над головой у него чертили светлым, сгорая на лету, сорвавшиеся с теплого небосвода звезды.

— А собаки были — разве такие, как вы, тявки? — вспоминал Сафонов. — Львы были, а не собаки.

Сторож трепал меж ушами Муху, и Уголёк снова лез, ревнуя старика, юлил и искал ласку.

За полночь сторож задрёмывал. Засыпали и собаки, свернувшись тугими калачами. Муха зябко вздрагивала и видела во сне то, чего не имела наяву, — собственную миску с теплой похлёбкой и своего хозяина, похожего на Сафонова.

Но изменения, которые вскоре наступили в Мухиной жизни, не могли привидеться ей и во сне.

Через несколько дней к причалу подошел и пришвартовался большой плавучий кран. Мотористы с крана пришли на склад получать оборудование. Они ходили между широкими стеллажами за кладовщицей Зиной и неожиданно увидели Муху. Узнав от Зины, что Муха

— ничья, мотористы решили взять ее к себе на кран.

Муха ни разу в жизни не посмела укусить человека, хотя люди иногда и причиняли ей обиды. Поэтому, когда моторист поймал ее, она лишь беззвучно оскалилась и ткнулась зубами в схватившую ее руку, но тут же ужаснулась своему поступку и прижала уши.

— Глупая, — засмеялся моторист, — тебе же у нас лучше будет!

Муху никогда никто не брал на руки, и ей было очень неловко чувствовать себя так далеко от земли. Все предметы вокруг стали меньше и выглядели по-иному. Муха извивалась под рукой моториста, стремясь принять привычное положение.

Моторист с собакой на руках прошел мимо знакомых пакгаузов и по узенькому трапику-сходне поднялся на кран. С бухты набегали волны, и кран плавно покачивался. Очутившись на палубе, Муха растерялась: широко расставив лапы, она боялась сдвинуться с места и старалась сообразить, почему пол под ногами качается и уходит вниз. Она сделала несколько шагов — ее мотнуло вбок, и она пошла не туда, куда хотела. Стремясь сохранить направление, Муха устремилась в про-

тивоположную сторону, но тут ее качнуло назад, и ей пришлось почти побежать, увернувшись от столкновения с какими-то ящиками.

Матросы засмеялись:

— Походочка-то у нее морская!

Муха поняла, что смеются над ней, сконфузилась и села, темными умоляющими глазами глядя на окружавших ее людей. Растерянно развесив в стороны большие торчащие уши, Муха решила ждать, когда перестанет качать и разойдутся люди. За время бездомной жизни она узнала, что неприятности хоть и многочисленны, но не вечны, что они приходят и уходят, только нужно уметь терпеливо их переждать. Вышел капитан крана — кранмейстер Николай Николаевич, вышла пожилая повариха Анна Александровна, вышел поглядеть и перепачканный углем кот Гошка, судовой старожил, деланно-равнодушно посмотрел на собаку, сузив зрачки стрелочками, понюхал Муху на расстоянии и побрел прочь, пренебрежительно изогнув задранный трубой хвост.

— Николай Николаевич, вписывайте в судовую роль нового матроса! — шутили на палубе парни. — Только куда лучше: в машинную группу или в боц-команду?

— Пока мы определим собаку на камбуз, — распорядился кранмейстер. — Анна Александровна, выделите собаке посуду, накормите ее! Старпому взять этого Жучка на довольствие!

— По сообщению кладовщицы Зины, это не Жучок, а Муха! — сказал моторист, принесший собаку, — Немножко не та насекомая!

Так Муха начала свою новую жизнь на большом плавучем кране. Природным умом и сообразительностью, выработавшейся у нее жизнью в порту, она скоро определила отношение к людям и место среди них. К одним она привязалась, к другим была равнодушна, третьих избегала, но ко всем старалась быть одинаковой: она понимала, что это необходимо, если ей привелось жить среди многочисленной команды крана. Но только одного в команде она считала своим хозяином — кранмейстера Николая Николаевича. Он обращал внимание на Муху не больше других, но всегда был с нее ровен и ласков. О его хозяйском положении говорило и уважительное отношение к нему людей, и Муха очень хорошо почувствовала это сразу после своего появления на судне.

Вечерами, когда стихало в кубриках, Муха направлялась, стуча когтяшками лап по коридорному линолеуму, к каюте кранмейстера. В

открытую дверь был виден Николай Николаевич: сидя за столом, он увлеченно писал. Затененная черным колпаком лампа освещала бумагу, руки и кусок стола со стоявшей на нем фотографией женщины и двух детей. Потоптавшись в дверях, Муха заходила в каюту и ложилась на мягкой ковровой дорожке. Кранмейстер писал не оборачиваясь, словно не замечал собаки.

Было тихо, лишь постукивали судовые часы да глухо шумел в машинном отделении дизель-генератор, освещавший кран, — через толстую мягкую дорожку чувствовалось легкое содрогание от его работы. Муха лежала, глядела на кранмейстера и испытывала чувство любви к этому человеку. Николай Николаевич иногда вдруг распрямлялся, откидывался в кресле и смотрел задумчиво куда-то поверх письма, мимо лампы, мимо висевших на стене барометра и карты бухты. Муха в надежде поднимала голову, подбирала передние лапы, но он не звал ее, и собака ждала, поблескивая в сумраке каюты влажными темными глазами. Наконец Николай Николаевич откладывал ручку — этот звук собака уже знала — и поворачивался к Мухе:

— Ну что, Муханский, пришла?

Пряча радость, она подходила, поднималась на

задних лапах, клала ему на колени голову. Крамейстер ласково трепал собаке шею и гладил между ушами. Задние ноги у Мухи уставали, но она старалась как можно дольше удержаться на коленях, заглядывала Николаю Николаевичу в лицо и вздыхала, всхрапнув.

— Что вздыхаешь? Скучаешь? Ах ты, «Муха-цокотуха, позолоченное брюхо»! Ничего, приедет Коляка — будет тебе веселее. Пойдешь жить на берег.

Из всей команды Муха не любила только строповщика Лобуса. Как все собаки, она долго не забывала причиненное ей зло и старалась избегать встреч с этим человеком.

Первую обиду Лобус нанес Мухе вскоре после ее появления на кране. Муха стояла на палубе и смотрела на вечернюю бухту. Было тихо, от идущих далеко стороной пароходов набегали на кран ленивые, казавшиеся шелковистыми волны. В них мигали, гасли и вновь зажигались отражения красных, зеленых, белых огней юухты, блуждающий луч прожектора на берегу. Муха, прищурившись, смотрела в подернутую свинцово-серыми сумерками даль, раздувала ноздри, ловила запахи в легких дуновениях воздуха — запахи земли и гнилых водорослей,

смолы и краски, чего-то съестного на камбузе. Она не заметила, как сзади подошел Лобус. Он подхватил собаку, бросил в стоявшую на палубе шлюпку и завалил ее брезентом. Очутившись в темноте, под тяжелым душным чехлом, Муха перепугалась, стала биться, пытаясь выбраться из-под навалившейся тяжести. Когда ей удалось освободиться, она выпрыгнула из шлюпки, но не рассчитала высоты и с размаху ударилась о палубу носом. Муха взвизгнула и пустилась наутек, чтобы не слышать громкого и злорадного смеха строповщика.

В другой раз он поймал Муху и посадил высоко на трап, ведущий в кабину крана. Кран покачивало на волне, и собака с трудом сохраняла равновесие на узенькой ступеньке, судорожно и тщетно пытаясь вцепиться когтями в металл. Муха качалась, тоскуя на высоте, а Лобус стоял под ней, смеялся, и ей страшно было близко видеть его глаза. Выручил ее тогда вышедший на палубу Николай Николаевич. Он отругал Лобуса и снял Муху, осторожно поставив на палубу. Пережив страх и не сумевши даже обрадоваться избавлению, она поплелась прочь, мучаясь от подступившей к горлу тошноты.

Невзлюбив Муху за то, что ему досталось из-за

нее от начальства, Лобус сделал ей еще одну пакость: он размял папиросу и вдунул ей в нос табак. У Мухи заслезились глаза, острой жгучей болью пронзило чуткий нос. Она не находила себе места и непрестанно чихала, конфузясь и боясь быть осмеянной. Мир сразу стал для нее безликим: предметы, которые Муха распознавала, как все собаки, по запаху, потеряли свои особые приметы и стали одинаковыми. Спустя некоторое время обоняние вернулось, но Лобуса Муха невзлюбила и стала бояться. При встрече с ним Муха жалась к людям: она заметила, что при людях Лобус к ней не приставал.

Но такие случаи были редкими. Команда крана хороню относилась и к Мухе, и к Гошке, делившими с людьми все радости и тяготы судовой жизни, все штормы и пурги, которыми так щедра Камчатка. Никогда еще у Мухи не было своего угла, своей подстилки и своей миски, в которой она трижды в день получала вместе со всеми вкусную горячую еду. Муха поправилась, шерсть у нее стала лосниться, глаза повеселели.

Собака тоже старалась услужить людям. Когда кто-нибудь из команды сходил на берег, она всегда сопровождала людей и бежала впереди, задорно закинув на спину баранку хвоста. В

судоремонтных мастерских она шла вместе с хозяевами в цех, семенила впереди по проходу между тесно стоявшими шумными станками, поминутно оглядываясь и стараясь не показать вида, что ей страшно среди грохочущих машин и она готова в любое время дать стрекача. На улице матросы иногда шутливо науськивали Муху на встречную собаку или на своих знакомых, и она, ероша шерсть, разыгрывала нападение, потешно отталкиваясь всеми четырьмя лапами. После этого, переваливаясь на кривых ногах, она тут же возвращалась к своим, очень довольная исполненным заданием.

На кране Муха нашла серьезное и полезное для команды дело. Заметив, как матросы ставили капканы-крысоловки — за каждую пойманную крысу по принятому на кране порядку пойманному полагался внеочередной выходной день, — она тоже приспособилась вместе с Гошкой ловить крыс, с которыми у Мухи были старые счеты со времени житья в портовых пакгаузах. Как только в помещении появлялась крыса, охоту за ней начинал Гошка, а Муха занимала пост возле крысиной лазейки. Обычно крыса увертывалась от Гошки и мчалась в убежище, но тут ее встречала Муха. Гремя мебелью и посудой,

она сбивала крысу грудью и душила, стараясь избежать болезненных крысиных укусов. Охота велась вдвоем, но крыса становилась трофеем только Мухи. Она брала добычу в зубы и тащила показать кому-нибудь из людей, беззлобно рыча на Гошку, когда он к ней приближался.

В один из штормовых дней кран был вызван срочно к судоремонтным мастерским. С бухты дул жестокий ветер, тяжелые волны били в набережную, взрываясь каскадом белых брызг. Кран качало, натянутые на стреле тросы гудели. Обычно в такую погоду работы не производятся, но на этот раз грозила авария: волны разбили набережную и берег заливала вода. Нужно было переставить краном стоявший на берегу в ремонте катер. Его опоры подмыло водой, и катер мог завалиться. Встревоженный Николай Николаевич, стараясь перекричать ветер, отдавал приказания. Под порывами ветра кран наваливался на причал, в щепки мочалил деревянные прокладки-кранцы. Муха тоже вышла на палубу. Она глядела, как строповщики торопливо заводили под катер тросы, как раскачивался на стреле тяжелый гак[29]. Тревога людей передалась и со-

[29] Примечания: 29
Гак — крюк, за который кран поднимает груз.

баке, она суетливо бегала по мокрой, уходившей из-под ног палубе. Наконец катер был подготовлен к подъему, но случилось непредвиденное: на раскачивавшейся стреле крана с блока сошел трос. Медлить было нельзя. Кранмейстер послал завести трос Лобуса, но тот отказался.

— Кто же полезет? — сердито спросил Николай Николаевич. — Почему должен лезть кто-то, если это твоя работа?!

— Кран должен работать при волнении не более трех баллов, а при таком штормяге пусть лезет кто хочет!

Тогда кранмейстер полез на стрелу сам. Собака с тоской смотрела, как Николай Николаевич, немолодой уже человек, карабкался наверх в паутине стальных конструкций стрелы, гудящих от штормового ветра, металась у трапа и пыталась лезть вслед. Но на помощь Николаю Николаевичу уже поднимались два матроса. Втроем они быстро устранили неполадки и спустились, закоченевшие на ветру, с посиневшими негнувшимися руками.

Через несколько дней после этого случая Лобус собрал свой чемодан и, не простившись, ушел с крана. О нем не сожалели. Без Лобуса Муха почувствовала себя на кране свободнее.

И опять потянулись трудовые дни. Кран ходил по бухте и поспевал всюду, где нужно было поднять или перенести тяжести, — и в порту, и на строительстве нового причала, и в судоремонтных мастерских.

Как-то погожим вечером боцман Гаврилыч занялся после работы рыбной ловлей. Рыба почти не клевала, лишь изредка попадались, на Гошкино счастье, головастые, с растопыренными плавниками бычки. Гошка и Муха сидели рядом и наблюдали за ловлей: Муха на палубе, а кот — на сложенных ящиках. С бухты бежал свежий бриз, в борт крана пошлепывали волнишки. Слегка покачивало, и швартовный трос, поскрипывая, терся о ящики. Вдруг верхние ящики поползли, рассыпались с грохотом по палубе, и Гошка не успел глазом моргнуть, как очутился за бортом. Он отчаянно забарахтался в воде и стал тонуть. Муха заметалась по палубе, растерянно и тоненько заскулила, затужила и вдруг — будто кто-то подтолкнул ее — прыгнула за борт.

Но недаром говорят, что один подвиг рождает другой. Увидев Гошку в воде, Гаврилыч отбросил удочку и, скинув лишь бушлат, тоже прыгнул с крана. Схватив за шиворот кота, он выкинул его на палубу, а затем подал выбежавшим матросам

и Муху.

Гаврилыч после холодного купания отправился в горячий душ, а Гошку обтерли старым одеялом и уложили в теплую сушилку рабочей одежды.

В этот вечер Муха и Гошка забыли об охоте на крыс. Они лежали на грязной спецовке, и Муха облизывала мокрого Гошку. Шерсть на нем слиплась, и ошейник из медной проволоки, надетый, как у всех корабельных кошек, для защиты от действия вредного судового электричества, ранее почти незаметный, болтался на шее. Вечером Муха даже не пошла проведать Николая Николаевича. Но тот, прослышав о происшествии, пришел с Гаврилычем сам.

— Эх ты, горе-рыболов, Гошка, — потрепал кранмейстер вздрагивавшего всем телом кота. — Как же это тебя угораздило? А ты молодец, Муханец, тебя хоть к медали «За спасение утопающих» представляй. Герой!

Несколько дней Гошка болел. Он был невесел и лежал. У него был жестокий насморк. Муха носила ему из камбуза кости.

В один из солнечных июньских дней Николай Николаевич приехал в порт на своем «Москвиче», отдал на кране необходимые распоряжения и покатил на аэродром, захватив с собой Муху.

Никогда в жизни ей не приходилось мчаться с талой скоростью. Она тянулась в приоткрытое окно, за которым стремительно неслись дома, машины и люди, и ветер сушил ей нос, кидал мимолетные дорожные запахи.

На аэродроме было просторно и чисто. На недавно политом бетоне высыхали лужицы воды. Николай Николаевич оставил Муху в машине и присоединился к ожидающим. Они в нетерпении прогуливались подле здания вокзала, рассматривали небольшие, тихо стоявшие с чехлами на моторах самолеты местного сообщения.

Наконец металлический голос девушки-диктора объявил о посадке самолета. Над Мухой с оглушительным ревом пронеслась серебристая машина, промчалась по бетонной дорожке и подрулила к вокзалу. Муха из кабины «Москвича» видела, как Николай Николаевич подбежал к самолету, несмотря на запрещения контролера, подхватил с высокого трапа, обнял жену и расцеловал детей: тоненькую высокую девочку лет десяти и коренастого темноволосого мальчика-дошкольника.

На обратном пути жена Николая Николаевича сидела с ним рядом, а Муха с детьми сзади. Николай Николаевич ехал не быстро и рассказывал

о камчатской земле, о высоких, заросших лесом сопках и белых пирамидах вулканов, с которых еще не сошел снег. Его перебивали возбужденные голоса детей — «Москвич» звенел радостными возгласами и был наполнен счастьем встречи. Коляка вскакивал, смотрел в окно, обнимал за шею отца и угощал его и Муху московскими сладостями. Мухе передалось это радостное, веселое возбуждение детей. Она топталась на заднем сиденье, ела из перепачканных шоколадом рук печенье и была необыкновенно, небывало счастлива.

В городе машина остановилась у подъезда недавно выстроенного дома. Нежилые новые комнаты пахли краской и цементом. Муха ходила по комнатам и обнюхивала свежевыкрашенные плинтусы, а Коляка бегал и вскрикивал, забавляясь звонким дробным эхом.

— Вот тебе собака, — сказал ему Николай Николаевич. — Ухаживай, корми и заботься о ней. Она жила в порту, ночуя где придется, жила у нас на плавкране и заслужила себе в свои годы спокойное житье. Видишь, какая она маленькая — ты не должен давать ее в обиду.

И Муха осталась жить в семье кранмейстера. Елена Викторовна — так звали жену Николая

Николаевича — и Верочка не обижали Муху, но и не обращали на нее почти никакого внимания. Все время она проводила с Колякой, терпеливо снося его неугомонные ласки и выдумки. Из любви к Николаю Николаевичу, снисходя к маленькому Коляке, она не протестовала, когда мальчик запрягал ее в игрушечные автомобили, и сопровождала его во время катания на велосипеде. Вечерами, когда ее новый хозяин ложился спать, она сидела на кухне и смотрела грустно через открытую дверь в освещенную комнату на Верочку и Елену Викторовну. Муху обижало, что ей запрещалось входить туда, и она вспоминала кран, где пользовалась полной свободой. Здесь ей жилось спокойнее, чем на кране, у нее было отдельное место в углу и сытная еда, она была больше предоставлена себе, но Мухе как раз не хватало внимания людей, грубоватых ласк матросов. Сидя на кухне, она скучала о кране, о Николае Николаевиче, которого теперь видела гораздо реже, о Гошке…

В домашней обстановке Муха прожила недолго.

Как-то раз, когда Коляка лег спать и в доме затихло, собака услышала в прихожей шорох. Она поднялась, подошла как можно тише к порогу,

осторожно переступая кривыми узловатыми лапами, и прислушалась, повернув голову набок, — где шуршит? В стоявшей на полу сумке, с которой ходили за хлебом, шелестела бумага. Муха прислушалась, сунула в сумку голову — и оттуда выскочила, кинулась к щели у плинтуса крыса. Загремев обувью, Муха опередила ее. Тогда крыса метнулась к батарее отопления, прыгнула на нее, оборвалась на металле, еще раз прыгнула, и тут ее настигла Муха. Покусанная крысой, но очень довольная Муха взяла добычу в зубы и понесла показать трофей Елене Викторовне. Она положила крысу на ковер и посмотрела на хозяйку. Наконец-то она может услужить новым хозяевам! Она помахивала хвостом, в глазах отражался свет лампы, они радостно лучились. Но когда Елена Викторовна рассмотрела Мухин трофей, она вскрикнула, вскочила со стула, отпрянула и начала кричать на Муху:

— Пошла! Пошла вон! Дрянь такая, тащишь всякую мерзость в комнату!

Она схватила веник, вышвырнула крысу в коридор и веником же шлепнула собаку. Это было не больно, но очень обидно. Муха сидела на лестничной площадке и недоумевала, за что хозяйка выгнала ее, почему ей не понравилась

пойманная крыса, ведь раньше за это Муху всегда хвалили.

Где-то приглушенно слышалась музыка. Этажом ниже стукнула дверь — кто-то спустился по лестнице и вышел ни улицу. Мухе показалось, что за дверью зашаркали шаги. Она подошла и прислушалась: нет, дома было тихо. Тогда Муха, переваливаясь длинным туловищем на ступеньках лестницы, направилась на крыльцо.

С улицы доносился шум автомобилей, говор и смех людей. Даже поздним вечером работал, жил неугомонной жизнью порт: оттуда слышался лязг цепей и грохот лебедок, голосок трудившегося портового буксира. Мухе вспомнился кран, веселые и шумноватые матросы, Николай Николаевич и добрая Анна Александровна, всегда готовая угостить чем-нибудь вкусным, вспомнила Гошку. Мухину грудь сдавило тоской. Она спустилась с крыльца и завернула за угол. Со склона сопки далеко виднелась бухта, разноцветные огни судов. Набежавший ветерок дохнул солоноватым холодком. Собака стояла, щурилась и раздувала ноздри, принюхиваясь к струйкам воздуха. Потом она снова вернулась на крыльцо. Через открытую дверь подъезда видна была тускло освещенная лестница, вытекал запах

убежавшего в чьей-то квартире пригоревшего молока. Муха постояла, тоскуя и поскуливая. На лестнице было тихо.

И тогда она решилась. Муха побежала вниз, на улицу, и, остерегаясь машин, направилась в порт. Меж темными пакгаузами она отыскала место, где обычно сидел сторож, но ни его, ни Уголька там не было. Не было в порту и крана. Муха постояла на пустом причале, под которым плескалась черная вода, и напрямую — через кучи угля и щебня, через песок и раскатившиеся бревна — побежала в мастерские.

Она добралась до них, когда начал брезжить рассвет. Смутно темневшую громадину стрелы, горящую на ее верхушке лампочку собака увидела и узнала издалека. Муха взбежала по знакомому трапу на палубу и радостно обнюхала знакомые предметы.

— Муха?! Ты откуда это взялась? — удивился вахтенный матрос. — Ах ты, псина, не забыла своих! — Он приласкал собаку и открыл ей дверь в теплый, мягко освещенный ночным дежурным светом коридор.

— Ну, иди, иди, дружок-то твой, Гошка, стосковался, поди…

До сих пор Муха живет на плавучем кране. Раз-

влекая в часы досуга матросов, она скрашивает их нелегкую службу на далекой Камчатке.

Летними тихими вечерами далеко разносится над уснувшей водой бухты ее звонкий беззлобный лай.

Угадай

У ворот рынка, где пенсионеры торгуют разложенной на мешках скобянкой, инструментом и дверными ручками в виде мордатых львов, я увидел мужичка с гончим псом. Мужичок от скуки балагурил с продавцами железного товара, увешанными ожерельями разнокалиберных гаек, а гончий рассеянно поглядывал на затекавший в ворота базарный люд. В мужичке как-то странно перемешалось большое и малое: он был невелик ростом, но в огромных валенках, «облитых» по низу резиной, над маленьким личиком нависал расшлепанный треух с громадным козырьком, глазенки щурились из-под больших взлохмаченных бровей. И курил он такую самокрутку «козью ножку», что это могла быть чья угодно «ножка» — коровья, верблюжья, но только не «козья» — так была она велика. Самокрутка торчала из-под козырька, как колено печки-буржуйки, выставленное в форточку.

— Продаешь? — спросил я мужичка, державшего в руке конец волосатого шпагатика от собачьего ошейника.

— Продавать не продаю, но и даром не даю, —

ответил мужичок. — Меняю. На четвертной.

Пенсионеры, скучавшие у ржавых развалов, засмеялись, зазвякали гайками. Гончий посмотрел на меня снизу вверх желтыми прозрачными глазами и громко постучал хвостом по валеному голенищу. Кожа на темени гончака морщилась и бугрилась складками, как скорлупа грецкого ореха. Многодумной, наверное, была голова под такими морщинами. А может быть, в ней сидела одна, но очень большая забота.

— Сколько ему?

— Годков-то? Да молодой… Парень еще. С год, может, будет. Или чуть поболе. Метриков не имеется.

— Значит, родословной нет?

— Значит, нету. Забыл надеть жилет с карманом, чтоб документы положить, когда ко мне прибёг, — продолжал веселить пенсионеров мужичок. — Осенью приблудился. Щенок еще был. А хозяин так и не объявился.

— Как звать-то?

— Как звать-называть? Угадай.

Гончий посмотрел на меня и улыбнулся. Кожа на голове его расправилась, стала гладкой, будто пёс вынырнул из воды. «Ну, угадай! — говорил его простодушный взгляд. — Что тебе стоит?»

И тут я разозлился на этого балагура, забавлявшего соседей по скобяному ряду.

— Сам угадай, — сказал я ему, — как зовут мою ардатовскую тетушку!

Мужичок озадаченно уставился на меня.

— Каку таку «ардатовскую»?

— Такую. Город есть такой — Ардатов.

Скобянщики, гремя гайками, прямо-таки покатились со смеху.

— Ну, хозяин, имечко у твоего кобеля! И этот прикупился!

— Чего это ты? — обиделся в свою очередь мужичок. — Угадай — это его так зовут. У-га-дай.

Гончий опять постучал во валенку и подмигнул мне желтым глазом. Он глядел на меня с явной симпатией. И вроде бы с надеждой.

«День рождения у меня скоро, — вспомнил я. — Может, сделать себе подарок?»

И я купил Угадая.

В воротах он остановился, обернулся, отыскивая взглядом хозяина, но мужичок уже исчез.

Угадай шел со мной охотно. Видно, не очень привязался к хозяину. Или просто ему надоела рыночная суета, и он был не прочь уйти поскорее от беспокойного места.

У магазина он вдруг рванулся, потащил меня

и вцепился в пушистого кобелька, смиренно дожидавшегося своих хозяев. На визг собачонки выскочила солидная женщина с сумкой, похожей на форменную гимнастерку с накладными карманами.

— Уберите своего охламона! — В ее крике бесследно утонул собачий визг.

— Это когда он на привязи! — показался на крыльце знакомый мужичок, неизвестно каким образом опередивший меня по дороге к магазину. — А так он тихий. Когда без привязи-то!

«Хорошее начало», — подумал я.

Угадай выплюнул белый пух и как ни в чем не бывало затрусил рядом со мной дальше.

Мы прошли квартал и увидели кошку. Она шла перед нами вдоль штакетника так, будто обновляла модные туфли на высоком каблуке, и покачивала задранным хвостом. Будто на нее смотрели коты со всей улицы. Это был вызов. И Угадай не выдержал. Он кинулся и оборвал шпагатик. Кошка «сбросила туфли», прыжками помчалась к знакомой калитке и юркнула между штакетинами. Гончий резко тормознул, разбрызгав остатки мокрого снега, и попытался проломиться в палисадник.

— Кку-уда?! А ну пошел вон, нах-хал!

Я схватил обрывок шпагата, оттянул Угадая.

— Это ваша собака? — Женщина в топырившихся под косынкой бигуди прижимала кошку. Упираясь лапами в ее пышную грудь, кошка карабкалась вверх, пытаясь забраться еще выше. — Уберите собаку! Разве можно так пугать?! У нее инфаркт будет! Вон как сердце бьется.

Угадай задержался у столбика и сделал то, что не полагается делать у чужих ворот.

«Ну, что ты мне еще преподнесешь, Угада-юшка?» — поглядывал я на своего гончего.

Но на улице не было ничего, что могло бы привлечь его внимание. Ему стало скучно. Он принялся заигрывать с моей ногой — старался забежать вперед и прикусить башмак или штанину.

— Ах какая прелесть! — умилилась соседка. Она стояла у калитки нашего общего палисадника и щурилась от сверкавшей мокрым льдом дороги. — Чья же она?

— Теперь — мой! — объявил я с гордостью. — Купил на рынке. Англо-русский гончий!

— Как же вы его назвали?

— Угадай.

Соседка поджала губы.

— Вы хотите сказать «угадайте»? — Она сделала

ударение на последнем слоге. — Разве мы с вами стали на «ты»?

Я с удовольствием сделал необходимые пояснения. Веселые скобянщики, вы много потеряли!

— Значит, это самец?

— Изольда Тимофеевна, у собак самец называется кобель. Самец у лошадей — жеребец, у овец самец…

— Ну хорошо, хорошо, я это знаю, — перебила она меня. — А что есть еще на рынке?

— Еще есть львы. На литых бронзовых дверных ручках.

Ох, Угадай, не навредить бы тебе таким разговором с Изольдой Тимофеевной…

Получив свободу, гончий тут же обследовал весь палисадник и черный двор. За углом он встретился с нашим общим котом, безраздельным хозяином участка и окрестных садов. Кот Чувырла, в рубцах старых шрамов на морде и в свалявшихся дворянских бакенбардах, сидел на теплой кирпичине, толстый и важный, как китайский мандарин, и косоглазо жмурился на солнышке. Угадай возник как из-под земли. Кот выгнулся, округлил глаза со змеиными стрелочками зрачков. Кривые грязные когти заскребли по кирпичу. Угадай сдвинул уши, сосборил темя

и слегка повилял задранным хвостом. Встреча была неожиданной и для него. Кот гнусно завыл нутром. Угадай сдвинулся, заходя с тыла. Но там, где только что был хвост, опять оказывался ощеренный, неприлично розовый рот. Чувырла харкнул, но плевка не получилось. Он исходил шипением. На гончего это не подействовало. Пёс шел по дуге, приближаясь. Кот дернулся, чтобы вцепиться в ухмылявшуюся собачью морду, но что-то удержало его. Он только загнусил тоном выше. Но это было уже не ново. Угадай отметил, что что-то удержало Чувырлу, снова ухмыльнулся про себя и бросился на кота. Чувырла взорвался остатками невыпущенного воздуха, наскоро хватанул растопорщенной пятерней гончака по морде и стрельнул на яблоню.

Только оказавшись наверху, на тонких неудобных прутьях, кот осознал постыдную непоправимость происшедшего. С владычеством на земле было покончено навсегда. Там, под яблоней, стоял гончий, смотрел желтыми прозрачными глазами на едва державшегося на ветках кота и насмешливо помахивал хвостом. Он даже не слизывал бисер выступивших капелек крови на губе: он был выше этого. Коту оставался только верхний, не очень удобный уровень обитания:

крыши, заборы, деревья… И кот завыл. Он оплакивал прежнее беззаботное житье, утерянную возможность бахвалиться перед кошками, безнаказанный разбой среди садовых птичек… Всему этому пришел конец. Отношения с гончим были выяснены. Отныне коту нужно было держать ухо востро.

Я выбрал место для конуры между сараем и угольной ямой. Угадай с интересом наблюдал, как я приколачивал доски, крыл будку толем и таскал сено. Отличная получилась конура! Мы залезли в нее вместе. Мне конура понравилась, Угадаю — нет. Он остался верен тому месту, которое облюбовал в первый день, — подполью веранды, где хранился садовый инвентарь и горой валялись пустые бутылки, банки и аптечные пузырьки. Гремя стеклом, он забирался на эту гору и располагался на бутылках. Как все собаки, он видел сны. Угадай всхлипывал, подергивал лапами, и посуда позвякивала под ним. Вот подика, угоди такому чудаку!

Весной у нас появились четыре десятка одинаковых, как только что отчеканенные пятачки, инкубаторских цыплят. Первые дни они сидели под громадным решетом, поклевывали мелко накрошенный желток, оглушительно ковали,

как тысяча кузнечиков, собранных вместе, и били снизу в мух, садившихся на сетку. Потом их выпустили в палисадник.

Каждый год это событие вызывало жгучий интерес кота Чувырлы, стоивший цыплятам нескольких жизней. Я надевал дворовые кожаные рукавицы и драл кота ремнем. Чувырла орал от боли и унижения, с отвращением отворачивался от подсунутого к носу цыпленка, но, когда встречался с ним где-нибудь в лопухах, не мог устоять от соблазна.

Теперь он завороженно смотрел на катавшихся в палисаднике цыплят с крыши веранды.

— Пу-усик! — сердобольно взывала к коту Изольда Тимофеевна. — Никакого житья тебе не стало из-за этого Угадая-негодяя. Иди, я тебя бельдюжинкой угощу.

Чувырла в палисадник не спускался. Там слонялся, томясь от безделья, гончий. Растепленный подкупающе ласковым голосом Изольды Тимофеевны, Чувырла раскрывал рот, сипел чуть слышно и строил глазки, пуская в ход весь набор фальшивых средств опытного рецидивиста.

В тоске по безвестным родителям инкубаторские братики и сестрички бежали гурьбой за Угадаем. Это окончательно рушило надежды

кота заполучить цыпленка. Он уходил на другую сторону крыши и смотрел на участок за забором, где качался в гамаке сосед.

Гончий врастяжку валялся на припеке, и цыплята бегали по нему, грелись на солнышке и пробовали клювиками «пуговички» на животе Угадая.

— Надо сделать фотоснимок и послать в редакцию журнала «Наука и жизнь», — говорила Изольда Тимофеевна, но тут же вздыхала: — Хотя наука далеко не всегда может дать объяснение вещам, с которыми мы сталкиваемся в жизни…

Пёс поднимал голову, заспанно косился на топтавшихся по нему цыплят и опять ронял ее в траву. Он не возражал быть цыплячьим папой.

Обладавший поначалу неистощимым аппетитом Угадай в конце концов приелся, у него в плошке стала оставаться каша. Но опыт бездомной жизни говорил ему, что еда может оказаться далеко не всегда, когда хочется есть, и лучше иметь запас. Недоеденные куски и кости он прятал: воровато уносил их и где-то зарывал. Угадай возвращался от тайника, всем своим видом показывая, что ничего такого, что могло бы вызвать посторонний интерес, он не делал — просто отлучился погулять. Его нос, загребав-

ший захоронку, был в земле, и подчеркнутая беззаботность при такой улике казалась особенно смешной. Я направлялся к его тайнику. Пёс равнодушно наблюдал, пока не догадывался, что мне все известно. Он срывался, чтобы опередить меня. Отталкивая мою ногу, выхватывал кость и искал место понадежнее.

Своими запасами на черный день Угодай не пользовался: в этом не было нужды. Но места своих кладовых он отлично помнил. Однажды курица начала разгребать там, где был тайник. И добродушный Угадай, под опекой которого мужала инкубаторская поросль, вдруг кинулся на ничего не подозревавшую несушку. Пух взвился столбом, как из лопнувшей подушки. Сердце во мне замерло: убийство чужой курицы очень осложнило бы дальнейшее житье Угадая, которому Изольда Тимофеевна не могла простить позор Чувырлы. Но курица с криком пустилась к себе во двор, и я с облегчением подумал, как много у кур лишнего пуха, без которого они могли бы безбедно обойтись.

Через полчаса к нам в калитку вошла соседка. Она держала знакомую курицу. Узнав злополучное место, курица забеспокоилась и затрясла свалившимся гребнем.

— Это что же ты наделал, как тебя — Негодяй, что ли? — Соседка дружила с Изольдой Тимофеевной, и я понял, что они уже обсуждали моего гончего. — Ты видишь, что натворил? — показала соседка Угадаю куриную ногу. Она была бесстыдно голой, но совершенно невредимой: Угадай сработал чисто. — Мне теперь только в суп ее… Либо штаны на нее шить — надо же, какой трептиз ей задал!

Я несколько раз смиренно извинился. Ткнул Угадая носом в голую куриную ногу, вытянул его прутиком и отправил под веранду. Ощипанную ногу на всякий случай помазали зеленкой. Мелькая изумрудной ногой, курица помчалась к себе на участок.

Но, как водится, одна неприятность потянула за собой другую. Она пришла на следующий день.

Изольда Тимофеевна любила розы. Я тоже любил, когда они цвели в нашем общем палисаднике, и помогал ей, когда нужно было перекопать грунт или вырыть ямку под новый черенок.

Лето выдалось жаркое. Розам это нравилось, они буйно цвели. А Угадай изнывал от жары. Вывалив язык, он бродил в поисках местечка попрохладнее. Такое место обнаружилось под породистой розой с названием «Глория Дей».

Сырая, недавно политая земля источала желанный холодок. Угадай немножко разгреб клумбу и завалился на розу. Лежать на терниях ему было, наверное, не менее приятно, чем на бутылках. Сломанная роза «Глория Дей» печально роняла на гончего кремовые нежные лепестки. Подросшие цыплята что-то склевывали рядом в развороченной собачьими когтями клумбе.

Я услышал крик Изольды Тимофеевны и сразу понял, что такое может относиться только к гончему. Охваченная гневом и жаждой мщения, она гонялась за Угадаем и затаптывала оставшиеся цветы. Нетрудно было догадаться, что все эти потери будут списаны на собаку. Цыплята бестолково метались по палисаднику.

Наконец Угадай нырнул под спасительную веранду. Тогда разъяренная соседка прибежала ко мне.

— Посадите его на цепь! Вы знаете, какую он сломал розу? «Глорию Деу»!

Слово «дей» она выговаривала протяжно и нараспев: «деу» — так ей казалось заграничнее и красивее.

— Изольда Тимофеевна, нельзя гончую собаку на цепь, — возможно мягче уговаривал я ее, сознавая, насколько неосновательны для нее мои

доводы. — У гончей собаки разбредется, ослабнет без движения лапа… Я поправлю, подвяжу розу… Приму меры… Поговорю с Угадаем… Извините…

Что было делать с моим нескладным псом? И обижаться не на кого, ведь сам себе сделал подарок…

Я говорил с ним долго и убедительно. И пригрозил напоследок:

— Ну, гляди, Угадай! Еще одна ощипанная курица, одна искалеченная роза, пусть даже не «Глория Дей», — отведу тебя назад, в скобяной ряд!

Близилась осень — пора охоты по черной тропе. Все мои надежды были связаны с Угадаем: каким он окажется в «поле»?

— Зря купил гончего, — сказали мне в охотничьем обществе. — Лисы и зайца стало мало, будет твой Угадай без работы. А вот куницы в бору наплодилось — пропасть! Надо было тебе лайку доставать. «Горят» лицензии на куницу: ни у кого в нашем краю нет лаек, а без лайки разве ее возьмешь?!

Вспомнил я своего приятеля-охотника, живущего под Петербургом. Приглашу-ка я его вместе с лайкой! И взял на куницу лицензию.

А пока решил поднагонять Угадая по русаку.

Если найдем, конечно. Только вышли за калитку — вижу, люди оборачиваются, смотрят на нас и смеются. Я остановился в недоумении: что в том смешного, когда охотник идет натаскивать своего молодого гончака?! И тут нас догнала, окружила толпа голенастых леггорнов — все сорок бывших инкубаторцев утянулись вслед за своим «воспитателем». Пришлось возвращаться.

Но своего русака мы все-таки нашли — в старом вишеннике на заброшенном хуторе. Великолепное чутье гончего уловило близкую дичь. Угадай заметался на подостывшем следу. Он шумно сопел и раздувал щеки. Русак, конечно, слышал, как мы трещали в разросшемся задичавшем вишеннике. Но над землей плыл тихий осенний день с белым нежарким солнцем, было тепло, уютно, и русаку угретую лёжку покидать не хотелось. Может, пройдут мимо те, что топчутся по кустам?

Он вымахнул перед самым носом Угадая, когда оставаться в лёжке было уже нельзя. Инстинкт говорил ему, что от опасности следует уходить или как можно раньше, спокойно и осмотрительно, не показываясь врагу на глаза, или выскакивать так близко, чтобы ошеломить его своим внезапным появлением. Стрельнувшая пружина сильных задних ног выбросила русака

выше бурьяна, выше Угадая. Перед гончим мелькнул побелевший русачий хвост и мохрястые, не успевшие опушиться по-зимнему порточки. Угадай присел и задохнулся от волнения. Вот она, добыча! Совсем рядом! Этого замешательства гончего русаку было достаточно, чтобы оказаться в безопасности. Когда Угадай вломился в кусты, русак был почти на краю сада. Выжлец[30] тоже вылетел на опушку и увидел русака, утекавшего вниз, к пруду, по выщипанному скотом, всхолмленному свежими кротовинами лугу. Пёс бросил след, истошно завопил и кинулся за ним «по-зрячему» — догнать!

Я стоял на гребне межевой канавы, как на командном пункте, позволявшем стратегически оценивать происходившее. Видно было, как заяц скатился к плотине пруда, перешел на другую сторону, к полосе желтой обломанной кукурузы, проследовал вдоль нее, вернулся и сметнул[31] в сухие высокие бастылины[32].

А Угадай все еще мчался к пруду. Его зады-

---

[30] Примечания: 30
Вы́жлец — гончий кобель.

[31] Примечания: 31
Сметну́ть — прыгнуть в сторону, вбок.

[32] Примечания: 32
Басты́лина — завядший кукурузный стебель.

шистые взбрёхи звучали для меня музыкой: как-никак, а идет с голосом! Правда, «по зрячему»-то частенько отдают голос и самые отъявленные молчуны…

Какое-то несоответствие наблюдалось между ногами выжлеца и его телом, летевшим вниз, под уклон: то ли ноги рвались вперед из-под туловища, отяжелевшего от лежания под сиренью в палисаднике, то ли, наоборот, они не успевали за ним. Несоответствие пошло вразнос: пёс споткнулся и кувыркнулся через голову. Он хрипло визгнул, будто выругался, вскочил и опять помчался туда, где в последний раз видел русака. Но уже молча. Неужели Угадай будет молчуном?

Установилась тишина. Устало молчали черные вскрытые огороды за прудом. Недвижно стояла кукуруза, спрятавшая зайца. Молчал пруд в истоптанных скотиной берегах, отразивший осколком усохшего зеркальца белое небо. Молчаливо метался вдоль полосы Угадай, разбираясь в заячьих хитростях. Я все стоял на своем наблюдательном пункте: интересно следить за тем, как разворачивается поединок между русаком и разыскавшим его гончим. Может, пойти помочь?

Но Угадай уже сам нашел сметку и исчез в

полосе именно там, где вошел в нее заяц. Что ж — молодец!

А русак тем временем вышел из дальнего конца полосы и покатил к лесу. Теперь Угадаю решать «кукурузную задачу» стало ни к чему. Пора было помогать.

Я побежал к концу полосы, накликая Угадал так, как накликают всех гончих, ставя их на след:

— Вот, вот, вот, во, во!..

Он выскочил, заполошно подпрыгивая, вскидывая уши: где?! Куда?!

Я ткнул рукой в выходной след. Он пометался, ухватил его и, повторяя ход русака, пошел к лесу. И оттого, наверное, что отпала необходимость копаться в густых шуршащих бастылинах кукурузы, что так легко и радостно стало держать пахучий след, Угадай стал ронять редкое басовитое бамканье. На подходе к лесу включилось эхо, тихие сосны отозвались охотно, звуки вздвоились, встроились, будто в бор ворвались сразу несколько Угадаев. И я, задавив подкатившуюся к горлу радость, испытывая желание подключиться к этому хору голосов, тоже побежал к опушке.

Круга Угадай не сделал. Где-то в лесу сбился и вернулся. Но для первого раза и это было хорошо.

Гончак брался за дело, и я был счастлив.

Осень запаздывала. Когда приехал мой приятель с лайкой, снег еще не ложился. Наши кобели походили «на цыпочках» один возле другого, обнюхались и разошлись миром.

— А на охоте и вовсе подружатся, — заверил Паша. — На то они и охотничьи собаки. Общая страсть. Если собаки на охоте грызутся, это не охотники — это уголовники.

Мы отправились в бор туманным ноябрьским утром. Отволгнувшая земля глушила шаги. В старых соснах было гулко, от лесничества на опушке доносилось тявканье шавки, пение петуха, звяканье железа.

— На каждую дичь лает по-своему, — рассказывал Паша про своего Роя. — Сразу узнаёшь, по ком лает, — по глухарю, белке, кунице иль медведю. Очень выразительный лай. Вот ездили мы с ним как-то в Карелию…

Я слушал Пашу, посматривал на его Мастера Выразительного Лая — может, и мне завести лайку?

…На краю сухого лесного болотца Рой взял чей-то след. Он заходил кругами, обнюхивал стволы сосен и поглядывал на их макушки. Угадай суетился рядом и ничего не понимал. Неподходящим

наставником был Рой. Не тем специалистом. Угадаю, как и нам, приходилось быть только зрителем.

А Рой продолжал свое, только ему известное дело.

— Паш, белка?

— Кто его знает, — не сразу ответил Паша. — Вообще-то не очень подходящее место…

Рой продолжал вести нас, оглядываясь и приглашая следовать за ним. Наконец неподалеку раздался его звонкий настойчивый лай.

— Похоже, куница, — пробормотал Паша. — Подходи с той стороны. Только осторожно: может, открыто сидит, не задуплилась…

Рой облаивал осину. В ветвях, кроме нескольких почерневших уцелевших листьев, ничего не было. Но метрах в трех от комля темнело дупло. Угадай топтался рядом с лайкой, поглядывал то на Роя, то на дупло. Он, кажется, начинал что-то понимать. Мы с Пашей сошлись, не доходя до осины.

— Тсс! — приложил он к губам палец. — Видишь? — указал он глазами на дупло. — Там, наверное… Только… что делать-то будем, как взять?..

Лаял Рой. Крутился рядом, недоумевал Угадай.

Попискивала на ближнем дубке, суетилась синичка, молча слушал лай собаки осенний тихий лес. Время шло…

— Давай я подойду, пошебуршу по стволу, а ты зайди оттуда, — прошептал Паша. — Приготовь ружье: может, выглянет…

Я встал сбоку, а Паша неслышно подошел и палочкой поскреб по стволу, поднимаясь все выше, словно взлезая на дерево.

Из дупла выглянула темная мордочка с округлыми ушками, уставилась на собак. Я сделал легкий выстрел — и зверек обвис на краю дупла.

— Чисто! — в голос засмеялся Паша. — Лишь бы назад не свалилась! У вас ведь тут вырубать нельзя? Лесничество?

Обухом топора он постучал по стволу. От ударов, от сотрясений ствола скользкое тельце куницы стало подаваться наружу и вывалилось под ноги собакам.

— Вот что значит — нас не учуяла! Собаки — это ничего, а если почувствует человека — нипочем не выглянет! — оживленно пояснял опытный Паша. — Когда непуганые, они вот так часто выглядывают: любопытные! Вот так-то, Угадай! Понял? Давай нам теперь русака!

Понял или не понял Угадай, но он все это ви-

дел, внимательно обнюхал куницу и улыбнулся нам желтыми глазами. Он был доволен. Здесь, в лесу, — это совсем не то что томиться в палисаднике.

С русаком в этот раз нам не повезло. Видно, действительно их в нынешнем году было мало.

Мы уже повернули к дому, когда весь день молчавший Угадай подал голос. Он бамкал раздраженно и басовито, совсем не так, как по русаку. Гон медленно приближался. В таких случаях всегда завидуешь гончим: им уже все известно, а ты ничего не знаешь, какого гонят зверя, где подняли его, далеко ли идет перед собаками…

Гон вошел в посадку. Там был Паша. Сейчас должен быть выстрел…

Но нет, выстрела не было. На песчаный бугор, затянутый охристой высохшей травкой, вышел огромный черный кабан-секач с крутым загривком, налитым тяжелой силой. К его чугунной передней части был как бы приставлен чужой слабоватый зад с несерьезным, сердито крутившимся поросячьим хвостиком. Слово «кабан» не очень подходило к этому чудовищу. Это был истинный вепрь, несокрушимый, как танк. Он шел шагом метрах в ста от меня, унося вверх по бугру свой горб, а за ним с такой же скоростью,

не отставая и не приближаясь, следовал Угадай. Он смотрел на крутившийся перед ним хвостик и размеренно побрёхивал. В сравнении с двигавшейся перед ним громадиной он выглядел жалким. Кабан, казалось, не обращал на пса никакого внимания. От него исходило сознание своей мощи, в нем виделись гнилые дебри коряжистых пересыхающих болот, шорох тростника, кромешные ночи… В Угадае — простодушное безрассудство молодости, двухнедельная натаска по русакам, дружба с леггорновскими цыплятами, боязнь рассерженной Изольды Тимофеевны. И еще — страсть охотничьей собаки, приковавшая ее к такой необычной и небезопасной дичи.

Вепрь, конечно, был раздражен неотвязным лаем гончего и, вернее всего, ждал случая, чтобы где-нибудь в чащобнике выместить гнев на неопытной собаке. Процессия поднималась наискосок по бугру. Сейчас она перевалит его, спустится в болото… Чем кончится этот страшный гон?

Я выстрелил в воздух. Все вмиг изменилось. Секач, крутнувшись, вырвал копытами песчаный дерн и исчез за бугром. Откуда-то примчался на выстрел Рой. Потеряв из виду кабана, вскоре вернулся Угадай. А из посадки вышел Паша. Он

был взволнован и бледен.



— Стою в посадке, жду зайца… Вдруг по соседнему рядку — вот, рукой подать! — движется этот Черт Иваныч. Броненосец! А за ним Угадай, как моська… Что делать? В стволах заячья дробь! Хорошо, не заметил… Вот ведь как, в двух шагах, по соседнему ряду!..

Паша вскоре уехал. Мы с Угадаем охотились одни. Он возвращался домой усталым, отрешенным, полным впечатлений охотничьего дня. Познавший дело, он стал держаться с тем достоинством, которое отличает мастерового от лодыря и пустоболта.

Изольда Тимофеевна удивленно останавливалась над ним, сморенным усталостью на крыльце, когда он взлаивал и дрыгал лапами, возвращаясь во сне в тот мир, который только что оставил. Он был рядом, этот мир, но оставался недоступным для Изольды Тимофеевны, как для большинства других людей. Ведь рассказать о том, что такое охота, так же трудно, как рассказать о музыке человеку, лишенному слуха.

Урок работы по кунице, полученный от Роя, сказался на следующий год. Я опять взял отпуск, чтобы провести его в гулком осеннем бору, в пустых полях, пахнущих сырой стернёй, сытным теплом омётов, свежепаханной зябью. Теперь у

меня был гончий второго «поля» — Поля Приобретения Мастерства.

…Он давно взял чей-то след в жестких корявых талах, обступивших кочкастую лощину с осокой и тростником. След оказался изрядно запутанным. Угадай топтался в чащобнике, потрескивал сухими соломинами тростника, возвращался по нескольку раз на одно и то же место, подлаивал ворчливо, словно бы рассуждая вслух: куда то и дело исчезают следы? Заяц? Едва ли он так долго будет водить по кустам. Гончий опять знал больше меня.

Снега не было, подсобить выжлецу я не мог. Я стоял на краю лощинки, слушал лес и ждал, когда Угадай либо разберется в сложной задаче, либо откажется от нее сам. В молчании бора, в его замкнутой неподвижности было согласие с той тайной, над раскрытием которой трудился гончий. Ходи, ходи, Угадай, не спеши, будет разгадка! Я не заметил, как он перестал лазать в тальниках, выбрался из лощины и повел в крупные сосны. Оттуда он подал голос. Но гона не было. Лай исходил из одного места.

Он сидел под сосной, задрав морду, как лайка. Только лайка обычно облаивает дерево, где таится дичь, а этот сидел спиной к стволу и бамкал в

небо. Странное ты нашел решение, Угадай!

На старой раскидистой сосне никого не было. Не было и дупла, из которого мог бы исходить чей-то запах. Я несколько раз обошел сосну, тщательно осмотрев все ее суки и развилины. Пусто.

Но Угадай за мной не пошел. Вернулся к сосне, занял прежнюю позицию и опять стал побрёхивать в небо. Бамкнет — посмотрит на меня. Побамкает еще, задрав морду, — снова посмотрит. Что ты хочешь сказать, Угадай?

Я присел рядом, проследил глазами направление его взгляда и только тут заметил на конце сосновой лапы сгусток хвои — «ведьмину метлу». Может быть, кто-то в ней? Постучал, поскреб сухим сучком по стволу. Никого. Угадай настаивает. Кинул сучок, зацепив соседнюю ветку. Никого. Настаивает, требует Угадай! Пришлось снять ружье. Ну уж если сейчас никого, то…

Посыпалась обсеченная дробью хвоя… Куница! Пустилась было сгоряча по узластому медному суку, но оборвалась и упала перед Угадаем.

Вот она, разгадка! Обнял я Угадая и поцеловал в многодумное морщинистое темя. Он удивленно посмотрел на меня снизу вверх желтыми простодушными глазами и растянул в улыбке губы: «Давно бы так, хозяин! А ты не верил…»

Так открылся удивительный талант гончего пса Угадая искать и облаивать куницу. Он полюбил эту охоту, мог часами распутывать ночные куньи следы и почти всегда добирался до ее дневной захоронки. Он не прыгал, не царапал ствол когтями. Он садился и пристально смотрел туда, где таилась хищница, и побрёхивал. Куницы стали нашим обычным трофеем. И все это от той памятной охоты с Роем, когда он на глазах выжлеца сработал куницу!

О моем гончем пошла молва по округе. Она исходила от старого, всем известного приемщика пушнины, по прозвищу Дед Мездро, которому я относил куниц. Наслышанные об уроке, полученном от Роя, охотники подпускали к Угадаю собак, но его опыт усваивался плохо. Видно, была у него какая-то особая сноровка охотиться на куниц.

Меня это поначалу занимало, а потом я расстроился. Другого мастерства я ждал от Угадая! Послушать гон по красному зверю или по матерому русаку, сообразить, как и где они идут, как подбыть под них и перехватить их красивым выстрелом, — вот охота с гончим! А тут ходи и жди, пока Угадай расшифрует ночную вязь следов куницы и подведет тебя к ней, затаившейся иногда в таком недоступном дупле, что никак не

вытуришь ее, и тогда приходится отступиться, уводить собаку с чувством вины перед ней, ведь она-то со своей стороны все сделала как надо… А если и вытуришь, тебе остается простым выстрелом снять с дерева куницу, а самое интересное и трудное по выслеживанию ее берёт на себя Угадай.

— Совсем ты свихнулся на своих куницах, Угадай! — упрекал я его, когда он, найдя свежий заячий малик, изучающе поглядывал на вершины сосен.

Он шел и по лисе, и по русаку. Но только до первого парного куньего следа. Тогда он бросал гон и занимался куницей.

Привычка беспризорничества делать запасы проявилась у Угадая и на заячьей охоте: догнав подранка, он прятал его. Я старался определить, где оборвался гон. Через несколько минут появлялся мой гончий. Как всегда, он выдавал себя излишним старанием показать, что ничего не случилось, просто подзадержался по своим безобидным, не касающимся меня делам. Зимой разыскать припрятанного русака не составляло трудов. По черной тропе мне иногда приходилось подолгу топтаться, наблюдая за выжлецом. Чем ближе мы оказывались к его «кладовой», тем

более он смущался, беспокоился, останавливался, отзывая в сторону, и наконец кидался к своей захоронке, чтобы опередить меня, и рассекречивал ее. А может быть, ему нравилась такая игра со мной?

Так прошло три «поля». А на четвертую осень опять приехал Паша. Он привез Роя, приятеля, по имени Гога, и лицензию на кабана. Кабана хотелось убить Гоге. А еще, как я понял, ему хотелось добыть и увезти, как подарок, куницу.

Судя по его рассказам, Гога объездил полсвета. Он отмечал недостатки экстерьера Угадая и вспоминал, с какими именитыми собаками он охотился в каком-то хозяйстве, куда приезжают дипломаты.

Пользоваться собаками-наемниками для меня все равно, что брать напрокат курительную трубку. Или зубную щетку.

Чувствовалось, Гога презирал Угадая за отсутствие родословной, а меня — за то, что я держу такого гончака. Но в бору старался держаться неподалеку, боясь заблудиться.

Теперь Угадай давал Мастеру Выразительного Лая уроки решения куньих задач со многими неизвестными. Но нам не везло. Одна куница ушла в кучу корней, кочек и тальников, которую

наскреб бульдозер при расчистке болота, вторая канула в дупле громадного дуба. Гога ходил с увесистой палкой, обстукивая ею все дуплистые деревья и осиновые обломыши. Ему хотелось найти куницу. Гога был из тех охотников, в которых надежда на всесильность собак сменяется презрением и разочарованием в них, вынуждающих человека принимать собственные меры.

Что-то раздражало меня в нашей охоте. Может, Гогино нетерпение выстрелить по дичи и его молчаливое недовольство, от которого чувствуешь себя, как хозяин, виноватым, его беспрестанное постукивание по дырявым стволам и надоедливое «гопанье», как только он терял нас из виду. А может, нынешняя нескладная работа наших собак. Не было обычного на охоте мира на душе…

Обе собаки взревели в болоте разом. Некоторое время там шла какая-то возня, треск сухих талов и тростника. Потом выскочили три кабана — секач и два подсвинка. Они неслись вверх по склону, черные и округлые, как пушечные ядра, а вслед за ними, чуть замешкавшись в кустах, поспевали Угадай и Рой. Я стоял к ним ближе всех.

В одном стволе у меня была картечь, в другом — дробь. Но было время заменить дробь пулей: пуля у меня всегда наготове. Я открыл ружье,

вынул дробовой патрон… Раздался выстрел, за ним сразу — другой: это отдуплетил Гога, шедший далеко за мной. Его «франкотт», быть может, действительно имел хороший бой, как он говорил, но стрелять картечью по секачу на таком расстоянии — это полная бессмыслица.

Секач крутнулся. Послышался сухой, как кастаньеты, звук — сигнал атаки, удар клыков. Не задерживаясь, он ринулся на меня. Видно, заметил меня давно, как только появился из болота…

Успев захлопнуть ружье, я бросил навстречу выстрел в длинный узкий лоб кабана и сразу заметил, насколько он бестолков, бесполезен, потому что кабан всё так же мчался на меня, словно в пустоту, как будто тут никого не было. Я попятился за дубок, запнулся в его пасынках, густо окруживших ствол, и упал на спину. Сейчас налетит…

Когда я вскочил, они крутились волчком: черный секач и белый, в желтых и темных пятнах Угадай. Вокруг танцевал, пытаясь ухватить издали, Рой. С другой стороны к нам бежал Паша. Улучив момент, чтобы не зацепить желто-белое, я в упор выстрелил в черный щетинистый бок…

Они лежали на изрытой их ногами полянке — Угадай и секач. Пёс поскуливал, пытался лизнуть

рану на животе, и ронял голову. Но еще страшнее рана была у него на шее. Из нее обильно, толчками, лилась кровь.

— Какого черта ты стрелял?! — заорал я на Гогу.

— Вы раскрыли ружье, я думал, что оно у вас забарахлило. — Переходя на «вы», ответил он так холодно, что я понял всю бесполезность разговора с человеком, объездившим полсвета, охотившимся где-то в знаменитых местах. Да и до него ли было тогда?

Ничего не изменилось в бору. Тихо. Где-то стучат по сушине. Это дятел. И больше ни звука.

— Жилу ему порвал, паразит! — Это — Паша.

Сел на пенек, с глухим стуком отбросил свою дурацкую палку. Это — Гога.

Из рваной раны пульсирует кровь. Красная, яркая. Артерия, наверное. За ребром на животе что-то выпирает, пучится, как вытаращенный сизый глаз. До дома — двенадцать километров. До грейдера — около десяти… Что делать? Что же делать-то?!

— Ах, Угадай, Угадай…

Он поднял желтые глаза, ударил виновато хвостом. Вздохнул, попытался улыбнуться, распустив морщины на лбу. И застонал.

— Мучается… — Это — Паша.

— Н-да, красивая смерть. — Это — Гога.

У кабана в копытах земля, на боку, в щетине, засохший ил — от лёжки в болоте. Черные губы закушены в ухмылке. Желтоватые плоские клыки как кривые ножи. Паша трогает их носком сапога.

— Покатал бы он тебя, если б не Угадай…

Бесстрастно молчит старый бор. В нем своя жизнь…

Что-то все-таки надо делать…

— Нет, Паша… Не могу я… Вижу сам, что мучается. Рука не поднимается…

— Но ведь это — акт милосердия! — Это — Гога.

— Понятно… — вздыхает Паша. И неуверенно: — Может, я? А?

Как тихо! Дятел колотит. Ветерок тронул сухие жесткие листья на дубке… Похрипывает, тяжко дышит рваным горлом Угадай.

— Нет, Паша. Моя собака. Зачем тебе? Вы идите. Возьмите всё и идите. Я догоню. Идите…

На другой день, когда обдирали секача, обнаружили у него на заду «хлопун», пузырь под шкурой. Это Угадай с такой силой рванул его на себя, что заживо оторвал от мяса кожу.

Ах, Угадай, Угадай…

Только радость доставлявший

Однажды я задержался на работе и направился домой около восьми вечера. В вестибюле было пусто, гардеробщица подремывала в ожидании, когда разберут несколько вразброд висевших оставшихся пальто, у тумбочки с телефоном скучал вахтер. Я вышел за двойные стеклянные двери с нарисованными на уровне глаз красными квадратами, чтобы сотрудники не «ходили сквозь стекло», и увидел на мраморе модернового подъезда свернувшуюся калачом собаку. Она лежала, положив голову на лапы, и безучастно, отрешенно поглядывала на прохожих, на проплывавшие по Садовому кольцу освещенные троллейбусы. Возле ее морды валялись нетронутые куски хлеба.

— Она тут с обеда, — выглянул вахтер, заметив мой интерес к собаке. — На кольце ее ударило, она закрутилась, а машины мимо — вжик! вжик! Спасибо, нашелся парень, вынес ее оттуда да тут и положил. Так и лежит. Не ест…

«С обеда»… Значит, мимо собаки прошли сотни моих сослуживцев.

Это была черно-пегая лайка безукоризненно

симметричного окраса, с резко очерченными белыми щеками и белыми бровками на черной полумаске. Пёс и на меня не обратил никакого внимания, когда я наклонился к нему, лишь передернул бровками, как бы говоря: «Ну, что еще тебе надо? Много вас тут прошло…»

— Это не ваша? Я возьму эту собаку! — вдруг выросла за моей спиной молодая бойкая дама.

— Это лайка, — процедил я. — Охотничья собака. И лучше всего было бы вернуть ее хозяину.

— Мы всегда проводим отпуск активно, компанией плаваем на байдарках, — настаивала дама. — Она будет много гулять, ей будет у нас хорошо!

И тут я почувствовал на себе некую силу сторонней воли. Это была воля Случая. Породистая — это было несомненно — собака в самом центре Москвы, в пяти минутах от Тверской… Попала на кольцо и осталась жива… Парень-спаситель, несколько часов у людного подъезда, сотни, тысячи прошествовавших мимо людей… И наконец, эта дама, заинтересовавшаяся собакой позже меня! Все это мог сделать только Всемогущий Случай, и противиться ему было, конечно, нельзя.

— Вставай, пойдем! — сказал я псу.

Он поднялся и, хромая, все так же отрешенно,

бесстрастно направился за мной. На рассеченном плече шерсть его слиплась от крови, но перелома как будто не было. Первая же машина (это оказался «левак») согласилась отвезти нас домой. Случай продолжал работать!

Пёс покорно вошел в машину. Мы ехали молча, будто поссорившись, — неудобно знакомиться в машине, когда разыгрываешь роль давних друзей.

Лифт, по-видимому, был ему знаком: молча, не глядя на меня, он проследовал в кабину и понуро поднялся. Только перед дверью квартиры замешкался в нерешительности: тут было чужое жилье, и так просто переступить его порог он не смел.

— Ты что, не один? — спросила Алла, недоуменно заглядывая в оставшуюся распахнутой дверь.

— Ну входи же, входи! — сказал я то, чего ждал пёс.

Он вошел, мельком оглядел прихожую и лег, сразу определив самое удобное и для него, и для нас место. Мы обмыли, обработали его рану. Перелома, слава богу, не было.

В течение нескольких дней я звонил в Общество охотников, в клуб «Дружок», в редакции журналов по собаководству — заявлений о пропаже лайки не поступало. Я был почти уверен,

что розыск будет безрезультатным — это должно было отвечать самому духу Случая! — однако при каждом звонке сердце у меня ёкало: я успел к псу привязаться. Но совесть моя перед ним была чиста: я сделал все, чтобы вернуть ему хозяина.

Приобретая собаку, человек теряет свою неуязвимость со стороны части обывателей, недовольных нарушением той нормы, которая, по их мнению, должна приличествовать любому члену общества. В собаке им видится вызов и чудачество — не держат же другие в квартирах этих животных! — и они пытаются наказать владельца собаки грубостью или хотя бы безадресным бурчанием: «Поразвели тут…»

С первых же прогулок я обнаружил, как мир разделился на тех, кто любит собак, и на тех — таких все-таки меньше, — кто их терпеть не может. Третья, самая многочисленная группа людей кажется сдержанно-безразличной, но это лишь до удобного случая высказаться так или иначе.

Новому члену семьи надо было дать имя. Наш друг, Поэт, широко известный не только стихами, но и остроумием, предложил назвать собаку Атас. Ну что же, Атас так Атас! Имя звучное!

Однако эту кличку вскоре пришлось сменить. На другой стороне улицы против нашего дома

стоял киоск с пластмассовой волнистой крышей, «пивнушка-волнушка», возле которого роились пивососы, частенько подливавшие в кружки из рукава кое-что покрепче.

— Атас! — громко звала собаку Алла.

Любители «покрепче» вздрагивали, озирались и лили драгоценную влагу мимо кружек. Нет, такое имя не годилось!

И пёс стал Пыжом, что, с одной стороны, напоминало о его охотничьем призвании, а с другой — слово это как бы «запыживало», глушило давнюю мечту о собаке.

Знает ли он лес, есть ли у него какие-то охотничьи навыки? Мне не терпелось испытать Пыжа. Но у него все еще болело плечо, и мы с лыжами уходили в лес одни.

Первый общий выезд за город состоялся весной. Поздним майским вечером мы пришли от электрички на знакомую речку, где не раз слушали весну и ловили на ушицу рыбью мелочь. С палаткой решили в темноте не возиться, а просто укрыться ею. Пыж уселся в ногах. До утра он не сомкнул глаз. Весенняя ночь была полна звуков. Всхлопнувшая крылом птаха, чмоканье раскисшего луга, цыканье припозднившегося вальдшнепа, плеск осыпавшейся землицы с

подмытого берега, голоса северных уток, протянувших в поднебесье, шорохи, журчание воды, вздохи деревьев — все это очень занимало его. Я просыпался и видел его неподвижную фигуру с настороженно сдвинутыми ушами, его вздрагивающие ноздри. Он не дергался, не менял позы — он внимал, принюхивался, прислушивался. Он был потрясен происходившим вокруг. Эту весеннюю ночь я как бы услышал его ушами и впервые ощутил ее так, как следовало бы чувствовать каждый год. Нет, все-таки Пыж не знал леса…

Я часто ездил с ним за город, и он, случалось, облаивал белок, но эти полудачные попрошайки, не боявшиеся собак, шли не в счет: на них лаяли и шавки. Все должно было открыться в Карелии, куда мы ездили уже не раз. В прошлом году я охотился там с Пальмой — местной собакой, смахивающей скорее на гиену, чем на лайку из-за резанных зачем-то ушей и темной курносой морды. Пальма была с «духом», азартна и своенравна, и чтобы полаять, порой просто выбирала дерево покрупнее.

После двух-трех небольших конфликтов, неизбежных при знакомстве и «притирке», Пыж быстро понял, что от него требовалось. Он был сообразителен и послушен, но все это касалось

пока только городского быта: перехода улиц и прогулок на пустыре, поездок в электричках. А как на охоте? Его вежливость и послушание обнадеживали меня, но и настораживали: работа не по страсти, а в угоду — разве это охота? Я готовил себя к худшему и мог бы многое простить ему, рассчитывая иметь хотя бы верного спутника, — кто знает, каковы его задатки, что унаследовал он от неведомых предков? Слишком невероятным было бы ждать от Случая дальнейших подарков…

Пыж взялся за работу как за нечто само собой разумеющееся, будто припоминая известное, заложенное в крови, но давно забытое. Общества Пальмы я теперь избегал. Но именно с ней был связан эпизод, закрепивший в Пыже страсть охотника по боровой птице.

Пальма догнала нас в лесу. В густом малиннике собаки подняли косача и проследили, как он взвершился на ольшину.

Я подошел, высмотрел косача, наблюдавшего собак в чапыжнике под ольшиной и выстрелил. Я не учил Пыжа приносить дичь, и он этого никогда раньше не делал. Тетерев упал комом, нужно было лезть в крапиву за добычей. Но из зарослей с треском вывалились уже обе собаки. Ревниво отворачиваясь от Пальмы, не давая ей обнюхать

птицу, Пыж нес косача. Нарядная, освещенная солнцем черно-пегая лайка с чернобелым красавцем петухом в зубах — зрелище красивое! Оттирая Пальму, Пыж отдал мне косача в руки.

Богатые угодья, обилие дичи, удачный выстрел, обладание трофеем — все это охотничье счастье. И все же самая большая радость для охотника — видеть, кате натаскиваемая им собака берется за дело, как ее природная страсть обретает мастерство.

Пыж еще не всегда мог уследить переместившуюся птицу или белку, которые тоже попадались в лесу, у него еще случались пустые полайки, но умение его росло от охоты к охоте, и так интересно было отмечать новые свидетельства его сообразительности и опыта.

У Пыжа стало правилом заходить при моем приближении с противоположной стороны дерева, и если мне приходилось кружить, высматривая птицу, кружил и он, неизменно оказываясь по другую сторону ствола. Он перестал царапать кору лапами, несколько раз согнав таким образом птиц. Он еще, случалось, терял голову и горячился, когда оказывался в середине выводка и вокруг с треском начинали взрываться тетерева. Стараясь помочь, я успокаивал его, силился по-

нять то, что происходило в недоступной для меня области запахов, и уж, во всяком случае, просто не мешать ему, предоставляя время разобраться во всем самому.

И Пыж научился держать не только глухарей и тетеревов, но и рябчиков. Отпало искушение «самотопных случайных» выстрелов: теперь я стрелял только тогда, когда выстрел завершал четкую «типичную» работу собаки, и только петухов. Я уверился в своей лайке и стал чувствовать себя на охоте хозяином положения, а именно оно, это чувство, делает охоту щадящей и красивой, доставляющей истинное, ни с чем не сравнимое удовольствие.

И началась «медовая» пора наших охот в Заонежье, тогда еще богатом дичью, ягодами и грибами, с его древними тропками и покоем темных озер, со скитской тишиной сосен на мшистых сельгах, с ленивым наплеском солнечной онежской воды… Я вкусил прелесть неторопливого уединенного лесования, молчание которого время от времени нарушалось лаем и скупыми, редкими выстрелами, широко окатывающими гулкие урочища и седые от лишайников скалы, и дни потекли, как один нескончаемый праздник.

Само присутствие хлопотливой остроухой

собаки с задорно закинутой баранкой хвоста, мелькавшей впереди в зеленом сумраке елей, пробитых дымящимися столбами солнца, радовало душу и вселяло надежду, ожидание счастья. Жизнь стала полной, как пульсирующая жила, украсилась трогательной и благодарной любовью собаки, получившей возможность заняться настоящим делом. С утра до ночи пропадали мы в безлюдных лесах, паслись на ягодниках, с одного камня пили озерную чистую воду, из которой на меня смотрело загорелое и обросшее, разморенное ходьбой лицо с блаженной улыбкой счастливого бродяги… Неужели это я, анемичный горожанин, выбравшийся из каменного чехла квартиры?

Мы отдыхали где-нибудь на берегу озера или торфянистой ламбушки[33]. Из ничего, сами собой рождались пышные, как в июле, белые облака, слепила, искрясь, вода, поднимался ветерок-полуденник, обещая назавтра такой же погожий счастливый день.

Ночевали мы чаще всего в брошенных лесных деревеньках. Окончен ужин, приготовлен ночлег, но спать еще рано. Настает пора долгого чаепи-

---

[33] Примечания: 33

Ла́мбушка («лямбе», «дамба», *финн.)* — небольшое озеро в лесу (*карел*).

тия, неторопливых мыслей, созерцания огня и тишины. В теплом дыхании костра бесшумно машет черной лапой ель, дрожат и слезятся звезды. Днем, на охоте, я отчасти становился собакой, пытался понять все намерения, все действия Пыжа, ощутить его затруднения и помочь ему. Теперь Пыж в чем-то становится человеком: сидит спокойно у костра, слушает мерный наплеск озера, поглядывает в провал между черными елями на звезды, думает, глядя в огонь, о чем-то своем, и в глазах его мне видится отблеск первобытного незапамятного костра, ставшего истоком великой дружбы человека и собаки.

Потом мы спим, растянувшись рядом на полу пустого дома. Тихо охает, покряхтывает вековое дерево его потемневших стен. В зыбкой полутьме рассвета, еще хранящего седину северных белых ночей, я близко вижу открытые глаза собаки, вопрошающие молчаливо и радостно: «Скоро ли пойдем, хозяин?»

Оставалось неясным отношение Пыжа к уткам. Он добросовестно лазал в топких тростниках, иногда поднимал уток, но за ними ли он охотился или за ондатрами? Пыж сопел у ондатровых хаток, обиженно подтявкивал, глядя в скрывшую зверьков воду.

И вот выпугнутая им кряква лежит на чистом плёсике, чуть подгребая лапкой и кружа. Посланный за добычей, Пыж дважды плавал к утке, обнюхивал ее и возвращался пустым. Он послушно поплыл еще, но птицу опять не взял. Наконец он вынес крякву, с брезгливой гримасой выплюнул ее и словно бы укоризненно посмотрел на меня: «Разве это дичь?»

В другой раз чирок-подранок упал в осоку за глубокой протокой. Пыж кинулся туда, где шевелилась трава, обнюхал утку и разочарованно пошел дальше.

Да что это такое? Непроснувшаяся страсть? Или сознательное пренебрежение? Говорят, и очень многие местные лайки не идут по уткам…

Но мне хотелось сделать из Пыжа утиного охотника. Опять мы лезем в болотные крепи. Он возится в стороне, трещит тростником, а я стою в воде и жду: не вспугнет ли кого-нибудь? Из-под куста выбежала, проехалась по воде утка и… приткнулась к моему сапогу! Затаилась…

Я бы мог попытаться просто схватить ее рукой, но решил еще раз сделать Пыжу показательную охоту. Тихонько стал подсвистывать Пыжа — кряква сидит вжав голову в «плечи». Пес кинулся на свист, кряква побежала, взлетела — он остано-

вился и вернулся в заросли, даже не проследив ее полёт. К тому же я по ней промазал. Что ж, бывает и такое… И я отступился. Утки просто не были для него дичью. Вроде ворон. Ни в каком виде он не ел ничего, что отдавало бы запахом домашней или дикой утки. По-видимому, он испытывал к ним отвращение.

На чем мы только не ездили, добираясь до мест охоты! Поездами, автобусами и попутными грузовиками, на лодках, лошадях и даже на самолете. В переполненном, набитом людьми и мешками сельском автобусике он неудобно, не умещаясь, лежал у меня на коленях, терпеливо снося тряску и густо висевшую внутри пыль, наваливавшихся людей, среди которых то тут, то там вспыхивало раздражение. Однажды мы ехали в кабине МАЗа, у которого при каждом толчке распахивалась дверца. Пес невозмутимо посматривал с коленей вниз, где неслась, тарахтела камнями дорога. Он верил мне и сразу исполнял, что бы я ни просил его. Я мог молча показать на борт грузовика, и Пыж, отлично зная, что такая высота ему недоступна, все же прыгал, надеясь, что я не обману, не подведу его. Я подхватывал его, подсаживал, и он переваливался в кузов, радуясь и приветствуя сидевших там незнакомых попутчиков.

Внешность Пыжа, его окрас, доброрасположенность ко всем без исключения людям, мудрое спокойствие, обусловленное доверием к хозяину, — «следует потерпеть, так надо, нарочно плохо не сделают», его философски-снисходительный взгляд на дорожную суету, в которую оказывались ввергнутыми люди, обычно вызывали симпатии подавляющего большинства, если мы ехали в северную сторону. А вот при поездках на юг к Пыжу относились настороженно, его побаивались и остерегались. Там, как правило, в собаке видят цепного стража, охрипшего при охране дома и сада. Хотя это неуважительное отношение к четвероногому питомцу надо было бы перевести на хозяина, лишившего его свободы и определившего ему такую участь лишь потому, что среди людей не все благополучно и существует воровство.

Лишь однажды мы встретились с выражением открытой ненависти. Рыжая раздраженная проводница поезда, готовившегося к отправлению в Воронеж, кричала:

— Не пущу! Я их терпеть не могу!

Все бумаги, билеты и справки у нас были в порядке. Было согласие соседей по купе, двух обаятельных женщин, матери и дочери, ехавших

до конца, было сочувствие других пассажиров вагона… Но проводница была неумолима. По возможности мягко и доходчиво мы объяснили ей, что при таких обстоятельствах нас больше интересует ее уважение существующих на транспорте порядков, чем личное отношение к собакам… Время шло. Нас не пускали. Пыж отлично понимал, что дело неладно. Тянувшийся поначалу в дверь, он теперь смирно сидел, подавленный и растерянный, смотрел на меня, на владычицу купейного вагона, но она уже отводила взгляд: даже ей, наверное, не под силу было видеть его умолявшие, полные тревоги глаза. Справедливость была восстановлена, когда удалась разыскать начальника поезда.

Так мы приехали в воронежские края, где я когда-то много и счастливо охотился, где попрежнему жили мои друзья-охотники. С годами охота здесь изменилась: в бору и степи стали редкими русак и лиса, зато пришли лось и кабан, появились олень, косуля, расплодилась куница. Немногие оставшиеся белки спасались на опушке, у жилья. Лицензии на куницу «горели»: лаек в черноземной полосе тогда не было. Старые мои друзья всё так же держали гончих.

Ранним утром мы с Аркадием Степановичем

и Николаем отправились в бор. У околицы спустили со сворок гончака и лайку — сочетание не совсем обычное. Было лучшее время черной тропы: мягко, влажно, туманно и гулко. Вдруг Пыж, рассеянно бежавший впереди, резко, будто его дернули за ошейник, кинулся вбок и назад и, не добежав метров тридцать до огромного дуба, воззрился на его высоченную, с порыжевшей бронзовой листвой крону. И залаял.

— Чего это он? — Мои друзья, у которых я когда-то мальчишкой проходил курс охоты с гончей, с интересом присматривались к необычной для тех мест собаке.

Я и сам не знал. Что могло быть на дереве, стоявшем на въезде в большое людное село? Пес настаивал, продолжал лаять. Конфуз… И тут в белесом рассветном небе что-то шевельнулось, осторожно стекло по ветке, тоненькое и гибкое, как червячок. Белка! У меня отлегло от сердца.

— Ну Пыж! Это как же ты ее на таком расстоянии причуял? — удивился Аркадий Степанович. — Прошли ведь уже! И не по следу, а верхом! Будто укололо его, как он метнулся!

И совсем по-другому, уважительно, стали посматривать они на мою лайку.



Мы не успели углубиться в лес и шли опушкой, примыкавшей к санаторию. Вдали проглядывались его корпуса, мелькали фигурки утренних бегунов. А Пыж вдруг ударился в поиск. Он кружил в соснах, обнюхивал их толстые корявые стволы. На этот раз след. Но чей? Кто мог быть здесь, в редких парковых соснах с низенькой чистой травой? Опять белка? Гончак совался[34] рядом, недоуменно поглядывал на Пыжа, на хозяев. А Пыж все вел куда-то, стал подлаивать:

«Теплее… теплее…» Он остановился у осинового окорныша[35] метра три высотой, обнюхал его и залился лаем: «Горячо! Здесь!» Странно… Упавшее дерево давно забрали на дрова, вокруг была газонная чистота. Азартный лай и охотники привлекли внимание ранних гуляющих. Любопытствуя, они кучкой стояли поодаль. Пыж лаял. Мы строили предположения.

— Он, кажется, подается, — попробовал окорныш Николай. — Может, падет? Приготовь-ка ружье, чем черт не шутит…

---

[34] Примечания: 34

…сова́лся рядом… — здесь: одна собака, не понимая, чем занята другая, старается это выяснить, суется носом в то, что заинтересовало другую.

[35] Примечания: 35

Око́рныш (от «окорнать» — неровно обрезать) — оставшаяся комлевая (прикорневая) часть ствола дерева, упавшего от гнили (дупла) и ветра.

Они вдвоем стали раскачивать обломыш. Крякнув подгнившими корнями, он в конце концов повалился, глухо стукнув, как мякинный мешок, о песчаную землю. Пыж кинулся к одному, к другому концу колодины, принялся разбирать ее зубами. Никого. Он один знал что-то и трудился в азарте, добиваясь своего. Мы все, включая гончего и зрителей-санаторцев, наблюдали за ним.

— Кто-то тут все-таки есть! — убежденно сказал Николай и ногой покачал колодину.

Никого. Ах, Пыж, Пыж! Неужели ты…

Носком сапога Коля стал разваливать трухлявое дерево. И тут из его конца, как из пушечного ствола, вымахнула большая куница. Собаки кинулись за ней. Я снял ее простым выстрелом в угон. Пыж тут же подхватил куницу и, отстраняясь от гончего, по дуге обнес ее и отдал мне в руки. В зрительных рядах зааплодировали.

Такое не забывается. Меня поймут, наверное, не только охотники.

Не только у хулы — у доброй молвы тоже скорые ноги. Пыж сразу же прослыл мастером.

В воскресенье нас, охотников и собак, стало больше. Когда гончие пошли по лисице, Пыж подвалил было к ним, но быстро вернулся и занялся своим делом. Лиса, видно, попалась пришлая

— повела собак по прямой к Рыбинским «пропастям», и они вскоре сошли со слуха. Широко разойдясь, прислушиваясь, мы направились за ними.

Вдруг из посадок донесся лай. Теперь это был Пыж. Голос отдалялся: он кого-то гнал. Куница? Уж больно резво идет, гон как у выжлецов… Я бросился за Пыжом. Как потом оказалось, все мы, не зная, кто из нас ближе к собаке, кинулись за ней.

Я бежал краем сосновой посадки, густым зеленым одеялом застлавшей песчаные бугры. Гон был на том же расстоянии: Пыж уходил с такой же скоростью. В открывшейся просеке далеко мелькнула фигура: кто-то спешил за лайкой. Азарт преследования охватил меня. Шло состязание — кто раньше подбудет к собаке. Не важно, что куница, кто бы ни убил ее, шла в погашение лицензии, — мне хотелось, чтобы выстрел был мой! Это нужно было для Пыжа: точку в его работе должен поставить хозяин!

Теперь я был уверен, что это куница, — в молодой посадке ей было трудно спрятаться, Пыж не давал ей оторваться и затаиться. Куница шла поверху, а Пыж гнался внизу. С бугра мне открылась далеко уходящая густая зеленая щетина — целое море посадок. Откуда-то из их глубины

доносился все такой же далекий, «ходовой» лай Пыжа. Когда же наконец куница остановится, когда Пыж остановит ее?! У меня не хватало дыхания, темнело в глазах. Километра два я бежал по песку в тяжелых сапогах, с ружьем…

Но вот, кажется, лай стал исходить из одного места. Может, задуплилась? Тогда все пропало: деревьев здесь, в одном из самых старых культурных лесных хозяйств России, из-за этого не рубят… Ближе, ближе, совсем близко лай!

Посадка обрывалась. Дальше шел осинник, толстые дубы и сосны, редкие березы. Задавливая дыхание, я осторожно выглянул из-за угла посадки. Пыж лаял под молодой, раза в два выше посадок сосной. По направлению его взгляда я осмотрел сосну и увидел куницу. Она лежала калачиком в «ведьминой метле». Близко за сосной деревьев не было. Чтобы уйти в старые дубы, к знакомому дуплу, нужно было несколько прыжков сделать по земле. Вися на хвосте, Пыж не дал кунице их сделать.

Дальше все было просто. Менее всего интересен в такой охоте сам выстрел. Куница выпала из «ведьминой метлы» и свалилась на Пыжа. Он поймал ее на лету и, распаленный долгой погоней, так сжал челюсти, что, мне показалось,

я слышал, как хрустнул ее череп.

Это был единственный случай такого обращения с добычей. Будучи во всем редкостно деликатным, Пыж никогда не мял дичь. На охоте такая деликатность была порой излишней. Я пережил однажды несколько неприятных минут, когда раненная на земле, пытавшаяся взвершиться куница была поймана, «вежливо» придушена Пыжом, а потом спустя какое-то время ожила и начала ворочаться в рюкзаке, толкать меня в спину.

Пыж искал и, случалось, поднимал русаков, отдавая «по-зрячему» тонкий, захлёбывавшийся, «заячий» голос». Подбывали гончие, и Пыж, когда в дело вступали «профессионалы», возвращался. Но в Карелии, где мы охотились одни, он молча тропил поднявшегося беляка, пока не добирал его и начинал гнать с голосом. Он шел и по кабану, принимался гнать лосей и косуль — я пресекал эти его попытки, чтобы не потерять помощника по перу и кунице. У него было врожденное обожание леса и неприятие открытых пространств. Явная гримаса разочарования была видна на его физиономии, когда мы, будучи в воронежских краях, выходили на опушку бора и нам предстоял путь по пашне. Он долго стоял на высоком краю

межевой канавы в надежде, что я одумаюсь и вернусь в сосны, потом бежал вдоль поля и, отчаявшись, соступал в пашню и скучно трусил бороздой.

Пыжа можно было, пожалуй, кое-когда упрекнуть лишь в том, что свою смекалку он использовал в целях избежания лишних жизненных трудностей. «Умный в гору не пойдет!» Он быстро догадался, для чего мы с Аллой, разойдясь в лесу, скликаемся потом, и поразил нас, когда стал по-особому подавать голос «для отклика», чтобы без лишних хлопот сразу найти нас. Пыж прекрасно ориентировался в лесу, находил нас по следу, но зачем эти поиски, если можно обойтись без них?!

При дальних охотах в бору Коля иногда брал у себя в совхозе лошадь и телегу. Гончим в голову не приходило проехаться на лошади, они трусили обочь дороги. А Пыж, если не было охоты, тотчас запрыгивал на телегу и сидел рядом с нами. Привычка путешествовать вместе? Или все тот же принцип: «Умный гору обойдет»?

Пыж был рассудителен, спокоен и мудр, очень сдержан в выражении своих чувств. Неизменно расположенный ко всем людям, он вежливо отзывался на внимание постороннего человека,

позволял поласкать себя, прилично ласкался в ответ и бежал дальше, тут же потеряв интерес к случайному человеку. Он никогда не бывал назойлив или капризен. Все это делало его «удобным» не только в лесу или в дороге, но и в быту, ведь большую часть времени мы все-таки проводили в очень людном городе.

Ни разу за много лет он не залаял, если только не просили «дать голос» в квартире. Соседи говорили, что поначалу после нашего ухода на работу, предвидя долгие часы одиночества, он порой тихонько подвывал, тоскуя, но быстро смирялся со своей участью и замолкал.

Ему было совершенно чуждо шкодничество и воровство. Мы как-то забыли на табуретке — на уровне его носа — купленные пряники и печенье, самое большое его лакомство, но он не позволил себе к ним притронуться. И не делал этого даже тогда, когда мы подкладывали нарочно, чтобы проверить его. Он мог положить на табуретку голову и ждать в терпеливом молчании, не угостят ли, и, если мы этого не делали, со вздохом разочарования уходил от соблазна.

Только однажды «бес попутал» его. Вскоре после появления у нас он изжевал угол косынки. Мы не сразу поняли, вернувшись, чем так смущен и

подавлен пес, пока не обнаружили косынку. До конца его жизни она стала укором ему. Достаточно было взять в руки злополучную косынку, как на его физиономии появлялось крайнее смущение, он тупился и как бы извинялся: «Да, было, что ж теперь делать… Стыдно, конечно… Так уж получилось…»

В своем поведении, в своих привычках Пыж был подлинно аристократичен. Это заложено в характере, такому не научить. Учтивость к людям сочеталась в нем с чувством собственного достоинства, он был галантен по отношению к сукам и никогда попусту не приставал к ним, более того, он джентльменски отшивал от них других кобелей, бестактно и не вовремя домогавшихся их благосклонности. Никогда не увязывался он за собачьими свадьбами, перекатывавшимися по пустырям и задворкам пестрым тявкающим клубом разновеликих шавок.

Его опрятность доходила до курьезов и веселила моих друзей-охотников.

— Ну, Пыж, начинаются твои страдания! — шутили они, когда по пути с охоты, где Пыж лазал в болотах и вываживался в тине, предстояло перейти широкую, разбитую в черноземе тракторами и машинами дорогу. Чертыхаясь, мы перебредали

ее по колено. Пыж, аккуратно обходивший в городе лужицы на асфальте, не мог лезть в грязищу. Он метался вдоль большака, искал местечко посуше, находил выложенные кирпичи и старался ступать по ним, брезгливо поджимая лапы.

Как бы ни был он голоден, никогда не хапал еду, ел неторопливо и аккуратно, не брызгая и не растаскивая куски. И почему-то всегда оставлял недоеденным «церемонный кусочек», — «бонтон» сомнительного свойства, но такова уж была привычка. И так же аккуратно, преувеличенно замедленно брал угощение из рук.

Ему очень нравилось, когда кто-нибудь, спускаясь на его «уровень обитания», ложился на полу. «Улыбаясь» такому чудачеству людей, он спешил развалиться рядом и замирал в тихом блаженстве. Трогательно и необычно было видеть лежащим на полу рядом с собакой нашего друга Поэта, человека очень сдержанного, не терпящего в людях неискренности и показной демонстрации чувств. Это он называл «сеансами пыжетерапии».

Пыжа любили наши друзья и знакомые, с ним можно было спокойно ехать в гости в любой, самый чопорный дом и быть уверенным, что пес не подведет и не оконфузит.

— Только с Пыжом! — обговаривали друзья, приглашая в гости.

В чужом доме он ложился там, где расстилалась прихваченная подстилка, это становилось его местом. Если, соскучившись, его приглашали к столу, он подходил не спеша, клал на колени голову, помахивая хвостом, церемонно брал угощение и возвращался на место.

Мы часто бывали с Пыжом, а случалось, и жили по нескольку дней в загородном домике моего давнего старшего друга, Старого Писателя. Нам отводилась маленькая летняя комната, где у Пыжа было постоянное место в широком жестком кресле. В этом доме, в свое время известном великолепными охотничьими собаками, Пыж был желанным гостем. По вечерам во время неторопливых бесед-чаепитий он чинно сидел на стуле между мной и хозяином и бурчал потихоньку, когда его просили «рассказать», что он видел во сне, или «почитать» развернутую перед ним газету.

— Будь он человеком, я думаю, он был бы не прочь пропустить и рюмочку, — посмеивался благодушно в усы Старый Писатель и, почти полностью ослепший в эти годы, ощупью находил голову Пыжа, гладил ее сухой, с высокими мосолками рукой.

Пыж был дополнительной связью в моей дружбе с близкими мне людьми, я как бы чувствовал на себе отсвет их расположения к собаке.

С ним можно было без опаски ехать и в незнакомый дом. Однажды я даже рискнул взять его во Дворец пионеров. По моему знаку он вышел из-за кулис на сцену, по тихой команде «голос» «поздоровался» с ребятами, но, избегая слепящей огнями рампы, допустил бестактность — сел к ребятам спиной.

Уверившись в его послушании, усвоенных привычках и в его рассудительности, я не брал его на сворку. Дойдя до края тротуара, он сам останавливался и ждал команды о переходе улицы. Так мы совершали длинные прогулки по Москве. Проходя мимо тренировочных собачьих площадок, я иной раз соблазнялся — слаб человек! — возможностью щегольнуть исполнительностью Пыжа. Достаточно было молча показать на бум, на лестницу — и он легко и непринужденно, играючи, пробегал по бревну, взбирался и опускался по крутым ступенькам, перепрыгивал через глухой забор. Проделав все это мимоходом, между прочим, мы направлялись дальше, оставляя в завистливом молчании владельцев громоздких упирающихся овчарок, для которых такая пло-

щадка была главным делом жизни.

Известно, что собаки, достаточно хорошо изучившие хозяина, угадывают его душевное состояние и настраиваются соответственно: радостно или печально, тревожно, задумчиво, игриво…

Пыж моментально догадывался, вышли мы просто погулять или встретить ожидаемых гостей. Тут уж ему было не до прогулки: он напряженно приглядывался к выходившим из автобуса на остановке пассажиром, осматривал встречных, он ждал и издали узнавал знакомых.

Но как он порой угадывал мои желания? Этого я не берусь объяснить.

Однажды мы, будучи с Пыжом в гостях, зашли навестить одного из старейших наших писателей, широко признанного литературного Мэтра, жившего в том же доме. Несмотря на годы, он продолжал работать со свойственной ему энергией интеллекта и силой своего оригинального, парадоксального мышления. У него побаливали, слабели ноги, и он, всунув их в теплые расшнурованные ботинки, сидел под пледом в кресле.

Уходя, я чуть задержался в дверях, еще раз прощаясь с ним взглядом. Он все так же сидел, склонив на грудь голову с большим выпуклым

лбом, грустно смотрел вслед. Сердце у меня сжалось — так больно было видеть его, так вопиюще не вязалась мощь его духа с детски беспомощной покорностью перед тем, что влекли годы…

Вдруг Пыж вернулся от дверей, молча положил ему голову на колени, глядя в лицо, и Мэтр, отнюдь не отличавшийся слабостью характера и сентиментальностью, мужественно перенесший на долгом веку многие жизненные и литературные потрясения, неожиданно прослезился, с чувством прижал голову собаки…

Совершенно противоположного характера эпизод произошел на перроне в Воронеже, где у нас была пересадка. Я отправился компостировать билеты, а Алла с Пыжом остались у брезентовой кучи нашего экспедиционного барахла. Под вечер на вокзале началось массовое движение бутылконосов. По неясной для меня причине, а может, по случайному стечению обстоятельств у всех мужчин, проходивших перроном, в руках были самые разные бутылки — из-под ситро, кефира, водки…

Необычный багаж и женщина с собакой привлекли внимание одного из носителей бутылок. Он остановился и, глумясь, стал кривляться и приставать к Алле. Я издали увидел это, бежал с

билетами и досадовал: «Пыж, хоть бы ты турнул его… Интеллигент несчастный!..»

И Пыж, который считал невозможным «поднять руку» на человека, который смущенно «извинялся», если ему в тесноте электрички придавливали хвост, — Пыж вдруг злобно ощетинился, кинулся к наглецу, и тот, отпрянув и разом отрезвев, трусливо ретировался, бормоча ругательства. Мне вмешиваться уже не пришлось.

А Пыж все еще морщился, гневно покашливал вслед алкашу, и надо было видеть, сколько в его гримасе было гадливого презрения к человеческому подонку!

Пыж прожил у нас около тринадцати лет. Сколько же ему было всего? Специалисты, глядя на его зубы, уверенно заявляли, что ему, когда он появился у нас, отроду было не более полутора-двух лет. Но безупречная белизна зубов сохранилась у него до старости, он все так же в пыль дробил сырые мослы, по зубам ему всегда можно было дать меньше, чем на самом деле.

В его безотцовском паспорте, который мы выправили на первой же выставке охотничьих собак, по экстерьеру стояло «очень хорошо» — высшее, что может получить пес без родословной. У него не было дефектов породы, исключая «неко-

торую нежелательную женственность общего вида», но уж это, пожалуй, из области вкуса. Судьба, отняв у него право участвовать — без родословной — в племенном воспроизводстве, оставив возможность лишь «бульварных» связей, в дальнейшем к нему благоволила: в него не стреляли, как в лайку моего знакомого, не украли на охоте, как это произошло с гончей моего другого приятеля, не удавили ради шапки… Сколько же человеческих выродков, омерзительной сволочи шевелится возле чистого дела охоты, влезает и пачкает ее!

К старости у Пыжа стали побаливать суставы и «очугунел», отяжелел крестец. Он все более осторожно укладывался спать и поднимался «по частям», как старик с разбитой поясницей, медленно, с кряхтеньем и вздохами, стараясь избежать острой боли, «размазать» ее по времени. Забыв об этом, прыгнув где-нибудь через канаву, он без видимой, казалось бы, причины вдруг вскрикивал — это давал знать о себе остеохондроз.

Первой, быть может, отметила приближение старости собаки дачная белка. Они с Пыжом были давно знакомы, у них установились отношения своеобразной игры в «охоту». Заслышав

приближение к участку белки, перескакивавшей с дерева на дерево, Пыж встречал ее лаем. Белка приходила на нашу сосну с прибитым на стволе скворечником, прыгала по ветвям, возмущенно дергала взъерошенным хвостом и громко цокала, понося лайку. Выполнив этот ритуал, белка спускалась в скворечник и спала там, выставив в леток мордочку, а Пыж занимал исходное место внизу, у порога.

Первое знакомство с белкой чуть не обернулось для Пыжа трагедией. Увидев ее ранним утром на сосне, Пыж вспрыгнул на перила балкона мансарды. Я спал на полу, проснулся и увидел над собой качавшегося на доске шириной в ладонь, вперившего взгляд на сосну, скулившего от возбуждения пса, и сердце у меня похолодело: внизу торчали колья георгинов, да и вообще падение с высоты второго этажа ничего хорошего не сулило. Я сдернул Пыжа назад, и все обошлось, слава богу…

Теперь белка пришла на сосну, а Пыж не услышал ее. Белка повертелась, поцокала на собаку — она не проснулась. И белка удалилась в скворечник.

Случайные любознательные собеседники на улице задают почему-то всегда один и тот же

вопрос: сколько лет вашей собаке?

Пыж был в форме, не седел — на его белой маске седина была бы и не видна, — и люди удивлялись, узнав о его возрасте. Но мы-то замечали, как быстро сдает наш пес. У него изменился аллюр: он теперь почти не бегал рысью, сразу переходя на кургузый «обрубленный» галопчик, как бы подтягивая одновременно обе задние ноги. Он больше и не так чутко спал, уставал в лесу, долго линял. Как пенсионер, Пыж получил право спать на диване. Порой он даже не слышал, как мы возвращались домой, открывали дверь. Ему все тяжелее давались поездки в электричке и на поезде, его надо было подсаживать в вагон на остановках где-нибудь на полустанке, когда я выпускал его погулять, и он волновался, шумно дышал, в глазах у него появлялось беспокойство, боязнь опоздать, не справиться… Всё как у людей.

В это время у нас появилась машина, и транспортные осложнения отпали. Снова стали доступны поездки на дачу и в лес. Как большинство собак, Пыж обожал автомобиль. Все равно куда, лишь бы ехать. Он лежал на заднем сиденье, подремывал, умиротворенно «помаргивал» бровками: мы все были вместе, мы ехали, и он

был спокоен. Так после некоторого перерыва мы снова оказались в Карелии.

— Глянь-ка ты, жив еще! — изумился мой давний приятель Миша, лесник и охотник, когда из машины появился Пыж.

Да и в городе, и в местах наших охот все меньше оставалось сверстников Пыжа, с которыми он охотился, встречался на прогулках…

Иногда я брал его на охоту, добираясь туда на машине, но охотничий круг наш исчислялся теперь сотнями метров, приходилось часто отдыхать, а где потруднее — нести его на руках. У него все еще было хорошее чутье, но сильно изменился голос, стал глухим и хриплым. Все-таки он чаще оставался домовничать, ждал нас и радовался, жадно обнюхивал битую дичь.

В канун одного из наших семейных праздников, отмечавшихся, по обыкновению, с друзьями, Пыжу стало плохо. У него и раньше случались приступы, он жаловался на живот, но так тяжело не было никогда. Он лежал на боку, откинув голову, полубессознательно и послушно глотал таблетки. Впервые он напачкал чем-то черным, как запекшаяся кровь. Это указывало на болезнь печени. Пыж безжизненно обвисал на руках, когда я укладывал его поудобнее. Что было делать?

Попытаться обзвонить друзей, дать «отбой»? Или, пересилив себя, дать возможность идти всему своим чередом, дать попрощаться с Пыжом тем, кто любил его?

Мы повезли его в лечебницу.

— Да, печень, — подтвердил врач. — И сердце слабенькое. Оставляйте, все равно он не жилец. С месяц, может, протянет…

Ну нет! Разве за этим мы приехали?

Пыж прожил после этого больше двух лет. Всяко бывало в это время: полоса некоторого улучшения сменялась обострением и слабостью, и снова мы вводили камфару, чтобы поддержать сердце. Пес сидел на диете, но жил, радовался, голова у него была ясной, он был предан нам и верил в нас.

Мы еще раз побывали в Карелии, и Миша уже не удивлялся, когда нужно было помочь Пыжу взобраться на крыльцо или сойти на землю, чтобы побродить возле дома, подремать на солнце в траве, над которой проносились ласточки-касатки.

Ни одно из домашних животных, исключая, может быть, лошадь, не служит таким объектом гордости хозяина, как собака. Людям мало ее любви и преданности — для удовлетворения сво-

его тщеславия им требуются медали и дипломы, призовые места на выставках. И все это, конечно, приятно, так же, как приятно ловить взгляды посторонних, отмечающих породность и красоту вашей собаки, ее энергию и темперамент. И хотя охотнику несравненно большее удовольствие, нежели официальное признание породности собаки, приносит ее хорошая работа на охоте, ее отменное воспитание и дружелюбный характер, неплохо, когда это главное подкреплено призом и дипломом.

А если пес вступил в тот возраст, когда его нужно выносить на руках, когда ему трудно ходить, задрать ногу у столбика? Как все праздники, праздник жизни собаки недолог, очень недолог. Наступает старость, сложная пора во взаимоотношениях хозяина и собаки.

Не знаю, правы ли мы были, до последнего поддерживая старого больного пса, пичкая его лекарствами, снотворными и болеутоляющими средствами. Каждый в эту пору вправе принять то решение относительно дальнейшей судьбы собаки, которое представляется ему наиболее целесообразным и приемлемым в этическом отношении. Нельзя осуждать выстрел, разрешающий такого рода затруднения на промысле в

тайге, — это акт милосердия.

Но здесь мы имели возможность облегчить участь собаки. И в этих условиях мы поступали так, как считали единственно возможным. Много лет мы гуляли с Пыжом в одно и то же время трижды в день. Теперь, чтобы не испытывать его стариковское терпение, я выходил с ним почаще. Ему нужно было движение, но без нажима и понуканий, от которых он начинал суетиться, переживать свою немощь и становиться жалким. Прогулки представляли всего лишь путь по коридору к лифту и от лифта на черный двор, к клочку незаасфальтированной земли. Но и это стоило ему трудов. Он тихо, с остановками, брел от куста к кусту, рассеянно провожал померкшими, залиловевшими глазами прохожих, принюхивался к запахам улицы. В сумерках он видел особенно плохо и после улицы в подъезде искал лапой на ощупь первую ступеньку, чтобы потом одолеть привычный лестничный марш. Всё как у людей…

Я уносил на руках покорно висевшую большую собаку и старался сохранить невозмутимость, не обращать внимания на удивленные, осуждающие, сожалеющие, насмешливо презрительные взгляды встречных, на вопросы и реплики:

— Больная, что ли? Сдали бы ее!

Но существование такой точки зрения лишь укрепляло мое упрямое желание облегчить и продлить дни Пыжа. Да и что они знали о нем?!

Я почти два года не охотился, а если и выходил в лес, то «самотопом» — но разве это охота? Да после радостного лесования с Пыжом…

Нам памятен был случай, когда несколько лет назад мы взяли на денек, чтобы пристроить выброшенного на пустырь, обнаруженного Пыжом щенка, и Пыж был совершенно убит от огорчения, замкнулся и отказался от еды, заподозрив желание заменить его… Нет, заводить новую собаку при нем было нельзя.

Нам опять предстояла поездка в Карелию. Как Пыж перенесет два дня пути? Машину он любил и чувствовал себя в дороге лучше.

Как всегда, мы оборудовали ему место на заднем сиденье. Снова движение, залетающие в окно запахи, отдых где-нибудь в лесу, у воды. Пыж повеселел, оживился, но все так же я вынимал его из машины, укладывал на месте.

В деревне нас встретила Мишина лайка Булька. Пыж обрадовался, сдвинул ушки, намереваясь «погусарить», но зад у него подвихнулся, завалился… Ему стало хуже.

Я уехал вымыть автомобиль. Стояли последние дни августа, солнечные, теплые и тихие, машинально я таскал ведра, тер щеткой колеса и думал о Пыже: что сейчас там, дома?

Когда я вернулся, Пыж спал. У него обострились боли, он стал жаловаться, и Алла дала ему обезболивающее, успокаивающее снотворное.

Он отошел не проснувшись.

Наутро мы отвезли его на Дианову гору. Сколько лет мы охотились с ним в этих местах! Мы были когда-то последними жителями брошенной лесной деревеньки, расположившейся на самой высокой точке Заонежья. Потом дома разобрали, и пышно разросшаяся трава, цветущие луговые герани и ромашки скрыли места построек, битые закопченные кирпичи.

Пыжа похоронили под большим камнем с плоской, словно бы специально срезанной стороной. На ней я написал имя собаки, трижды выстрелил, и эхо широко раскатило салют.

По дороге домой нам встретился Миша.

— Это ты стрелял?

— Я, Миша…

— М-да… На тебя что-то не похоже… — Он замялся, мучаясь от того, чего по долгу службы не мог не сказать мне, давнему своему другу. — А

ты, однако, отстрелялся… День-то сегодня, как ты знаешь, не охотничий…

И, узнав, *что* это были за выстрелы, вздохнул облегченно: дружба остается дружбой.

Через Дианову гору проходит дорога, пересекающая полуостров Заонежье. Редкий путник не остановится здесь, чтобы полюбоваться видом, открывающимся с горы на десятки километров, — Онего и повенецкий берег, идущие к Беломорканалу суда, леса с поблескивающими в них озерами…

Высота, простор, онежские и лесные дали настраивают мысли на высокий и неторопливый философский лад. Мои спутники вслух читают короткую надпись на камне: «Пыж», и я добавляю про себя оставшееся ненаписанным: «…только радость доставлявший»…

2 – «У» – 2
Первое «У»

Она родилась 14 октября 1984 года вместе с четырьмя ее братцами и сестрицами. Это был первый помёт ее матери Найги, ощенившейся на третьем году жизни. Ее отцом, которого она, как большинство собак, никогда не видела, был палевый с белыми отметинами Миг, а дедом по материнской линии — серый Волчок, давший целую ветвь потомков в племени западносибирских лаек.

Ровно через месяц все пятеро лайчат были доставлены в Общество кровного охотничьего собаководства.

Был четверг. По этим дням в Обществе бывало особенно людно: собирались лаечники. Шумноватые, деятельные, привыкшие к дальним, порой рисковым поездкам в звериную глухомань, еще пахнувшие, казалось, дымком таежного костра, они толпились в коридорчике, находили знакомых, кучками стояли на улице. Они плотно обступали столы «вождей» секции лаек, перед которыми лежали книги породы, кинологиче-

ские «студбуки», журналы собачьих брачных знакомств. Но руководители секции и без записей знали назубок родовые линии достойнейших производителей, устойчиво передававших поколениям лучшие черты характера и статей. Энтузиасты-подвижники, они, отложив все домашние дела, приезжали сюда каждую неделю, чтобы окунуться в круговерть шумных обсуждений, где и как организовать испытания лаек по белке, кабану или медведю, где назначить будущие свидания ничего не подозревавшим пока остроушкам для получения потомства. В руках руководителей секции находилось будущее московского лаечного племени.

Результаты этих свиданий привозили сюда, чтобы показать потомство и получить свидетельства, удостоверяющие щенячьи личности. С затаенной гордостью хозяин извлекал из короба очаровательных лайчат, а то и попросту вытряхивал их на пол. Толстолапые увальни, поросшие медвежачьей шерсткой, таращились на собравшихся лиловатыми младенческими глазками, расползались по полу, ковыляли по раскрытым на столе «студбукам». Вожди секции придирчиво осматривали и оценивали прибавление: заглядывали в глаза, раздували шерстку,

даже принюхивались к дыханию.

— У здорового щенка изо рта должно припахивать свежей редечкой!

Для многих щенков этот день был прощанием с матерью, с гнездом. Новый хозяин, для которого породистый несмышленыш становился самым дорогим существом на свете, полный планов на будущую охоту, увозил щенка куда-нибудь на Север, в Сибирь — московские лайки пользовались широким спросом.

Волею случая первым в роду охотников, всегда державших легашей, я тоже завел лайку. Судьба сама подарила мне бездомного красавца Пыжа. И я стал лаечником. Это отвечало духу времени: вытесненная урбанизацией и невежественным хозяйствованием на земле, вековая классическая русская охота откатилась на Север, в сибирскую глубинку, в малодоступные для сеттера или пойнтера угодья. Десяток лет я счастливо охотился с Пыжом, наслаждаясь его аристократизмом и послушанием, но — недолог собачий век…

Прошло время, и я стал наведываться на лаечные четверги. Сердце мое подтаивало при виде покрытых звериным пухом неуклюжих увальней, но… Что-то все еще мешало мне относиться к одному из них, как к «своему». Своим все еще был

Пыж, непреклонной была память о нем. Пока не прибыло на смотрины семейство Найги…

Упитанные, похожие на байбаков[36] кутята были «высыпаны» на пол комнатенки. Пятеро пегих лайчат принялись исследовать новое место, башмаки расступившихся любопытных. Впрочем, пегими были не все. Самая маленькая сучонка была совершенно белой. Она же была и самой деятельной. Она тут же отправилась путешествовать, путаясь в многостволье человеческих ног. Гнездо было хороших кровей, отменно выкормленные щенки казались один лучше другого — у меня разбежались глаза…

— Я бы посоветовал вам обратить внимание на эту особу, — деликатно порекомендовал Сергей Глебович Добров, один из вождей секции, ныне, к сожалению, покойный…

Он имел в виду белую сучонку. Но я и сам уже «положил глаз» на нее. Совет лишь укрепил меня. У «особы» при ее окрасе был блестящий угольно-черный нос, высоко расположенные ушки уже стояли, крутая витулька хвоста лихо закинута на спину. Вот только глазок… Краешек левого глаза был голубоватым.

---

[36] Примечания: 36

Байба́к — грызун, проводящий в спячке холодное время года; здесь в переносном значении — ленивое неповоротливое существо, лежебока.

— Это ничего, — успокоил Сергей Глебович. — Просто, как говорится, прокол радужки. Вернее всего, кто-то из братцев-сестриц задел коготком. На зрении не отразится.

— Непоседа из непосед, — представил ее хозяин. — Никому в гнезде покоя не дает.

Глазок мы все-таки проверили. Зрение вроде бы не пострадало.

И я решился. «Возможно, это знак судьбы, отметившей по-своему исключительность персоны», — утешил я себя.

Необычная масть, необычный характер… Кто не мечтает, приобретая щенка, о славном будущем своей собаки!

— Никак, поросеночка купили? — удивилась лифтерша в нашем подъезде, приглядываясь к торчавшей из пазухи мордочке.

— Белого медвежонка! — распахнул я куртку, под которой чернели на белом три точки — глаза и нос.

Сучонка с ее щенячьими белыми ресницами и розовыми веками в самом деле смахивала на поросенка. Но и на медвежонка тоже. И потому после недолгих поисков имени она получила кличку Умка.

Мы ожидали ночного плача, но Умка по ро-

дительнице не тосковала. Ее больше занимало новое место. В первую же ночь, упираясь головой в тумбочку, она ухитрилась забраться на постель.

Мы выдворили ее, но ход был найден: через полчаса она снова оказалась на кровати. Стало очевидным, что подобная предприимчивость, если она не будет сдерживаться «моралью», может привести к конфликтам. Мы стали относиться к ней построже. Однако поиск методов воспитания она, по-видимому, считала делом только воспитателей, не имеющих к ней никакого отношения. Она была настойчива в осуществлении своих желаний, эксцентрична в поведении, буйно отдавалась играм и, увлекшись, частенько переступала границу: могла ощутимо прихватить или ушибить зубами. Шумные, с воплями и лаем, игры сменялись внезапно глубоким сном, который без всякого перехода мог снова обернуться азартной игрой.

При выборе собаки той же породы мне хотелось, чтобы она как можно меньше напоминала Пыжа. Тот был кобель, эта — сучонка; тот был черно-пегий в «маске» — эта белая; тот был очень сдержан в своих чувствах, а эта… Кажется, мои пожелания были удовлетворены с лихвой!

Ко времени приобретения Умки я был давно и бесповоротно убежден, что настоящая охота — исключая, разумеется, весеннюю — может быть только с собакой, и не вообще с собакой, а именно со своей, которую сам вырастил и поставил на работу. Убеждение это родилось еще в мальчишеские годы, когда я начинал охотиться и какое-то время обходился без собаки. Старательно разбирая следы, вытаптывая зайца или отыскивая затаившуюся утку-подранка, я был вынужден в какой-то мере сам быть «собакой» и понял, чего мне недостает. Первой моей собакой была гончая, которая, несмотря на сомнительное происхождение, в результате настойчивой нагонки стала работать и показала, что охота со своей собакой — это совсем не то, что унылый «самотоп».

Я присматривался к подраставшей лаечке, подмечал ее наклонности и старался, сколь возможно, повлиять на нее так, чтобы она была послушна, понимала, чего от нее хотят, и была готова к сотрудничеству на охоте. Меня переполняли надежды: все предки моей лайки имели дипломы разных степеней, подтверждавшие работу по зверю и птице, и получали только отличные оценки экстерьера. Известно, случаются выродки, «в семье не без урода», но Умка пошла

не из роду, а в род: она была энергична, подвижна, сметлива и очень наблюдательна, подмечала малейшие изменения в привычной обстановке.

До первой прививки в трехмесячном возрасте мы выводили ее гулять на территорию огороженной подстанции, где не было собак. На воле она смирела, залезала в сугроб, теряясь на белом, что-то тщательно вынюхивала, до чего-то докапывалась — это свойство дотошной «копухи» не вязалось с ее взбалмошным легкомыслием. Когда ее уносили домой, она негодовала, противилась и закатывала истерики. Вырываясь, она однажды острым как бритва коготком расцарапала мне сверху донизу щеку — поди объясняй каждому, что это сделал не кто иной, как собственная собака!

Весной, когда Умке стало немногим более полугода, у нее впервые проявился охотничий инстинкт. И в очень неподходящем для этого месте. На воду бассейна фонтанов перед университетом на Воробьевых горах с громким «шварканьем» опустился селезень и поплыл, крутя головой. Это произошло на глазах Умки. Она вырвалась и с криком бросилась в бассейн. Селезень-горожанин не испугался, но на всякий случай стал отплывать в сторону. Довольные неожиданным

развлечением гуляющие столпились на краю и наблюдали, как лайка-подросток, плавая между раскрашенными чугунными лилиями, — слава богу, они не фонтанировали, — пыталась настичь красавца селезня. Он становился ближе, ближе… Подпустив собаку, селезень взлетал и шлепался на воду в другом конце длинного бассейна. Умка разворачивалась и пускалась за ним…

С трудом удалось мне отозвать, извлечь на высокий гранитный борт дрожавшую от возбуждения, скулившую Умку. Я был смущен большой аудиторией зрителей, среди которых двое были в милицейской форме, что грозило штрафом, но больше все-таки был обрадован охотничьей горячностью подраставшей лаечки. К тому же — по утке, ведь по этой дичи Пыж отказывался работать наотрез.

Второе «У»

По дороге из Переделкина я выезжал на бойкое Минское шоссе. Впереди — мелькание на трассе машин, постовой ГАИ у слияния дорог, справа — магазинчик, слева — водопроводная колонка, человек у подвешенного на кран ведра. Сбросил и без того небольшую скорость, чтобы остано-

виться у выезда на Минку. И заметил краем глаза, как что-то шарахнулось от колонки. Тут же под машиной раздался легкий стук…

В зеркале заднего обзора видна была оставшаяся на асфальте кучка. Кошка? Чего ради она вдруг метнулась сбоку под машину?

Тут же съехал, остановился на обочине. Шедший сзади автобус пропустил кучку между колесами. Человек с ведрами уже возвращался через дорогу к домам. Остановился на несколько секунд, посмотрел на кучку и направился в переулок. У него были заняты руки.

Но это оказалась не кошка. Это была собачка. Я вынес ее безжизненное тельце, положил на траву. Маленький кобелек. Лохматая, песочной масти шерсть. Что делать? Неприятно, когда расшибается о машину, застревает в оперенье даже стрекоза. А тут — собачка… В машине у меня своя лайка сидит, наблюдает за мной через заднее стекло…

— Она увидела на этой стороне собаку, метнулась от хозяина — за водой с ним увязалась, а тут вы… — словно бы с осуждением сказала женщина, наблюдавшая за происходящим.

А тут я… Но что я мог сделать?! Ведь песик попал под машину даже не спереди, а сбоку!

Я присмотрелся: песик дышал. Из носа у него выступила кровь, но переломов, кажется, не было: колеса его миновали. Без сознания, но жив. Жив! Значит, надо скорее к врачу! Женщина не знала, где ближайшая ветлечебница. Я побежал к постовому.

— Что случилось? — отрывисто козырнул инспектор. И, узнав, махнул рукой: — Редкий день не попадают. Надоело убирать. Хозяева не смотрят. А может, и нет хозяев. Плюньте — не первый и, наверное, не последний.

Я решил, что быстрее доберусь до «своей», знакомой лечебницы, нежели буду искать за городом.

Врач Антонина Ивановна внимательно осмотрела кобелька, сделала два укола.

— Молоденький, видите, зубы еще не менялись. Переломов нет, но сильный ушиб, внутреннее кровоизлияние: десны и веки белые… Трудно сказать, чем кончится. Во всяком случае, сейчас покой и покой!

Два дня песик был на грани. Не ел, насильно глотал лекарства. Умка, испытывавшая к гостю с первых минут его появления настойчивый интерес, иногда прорывалась к нему, легкомысленно тыкала носом, вопрошая, — он поднимал боль-

шие темно-ореховые глаза, полные страдания, смотрел так моляще, что она никла, застывала у его ложа.

Покой, лечение, а главное, возраст песика сделали свое дело: он начал поправляться. С легкой растрепанной шерсткой, с длинными тонкими лапами, с выпуклыми выразительными глазами на небольшой, круглой, как орешек, голове, он больше походил на обезьянку, чем на собаку. Ушибленную левую заднюю лапу он обычно поджимал, берёг ее и трусил, как заяц, вскидывая задом. С Умкой, чувствовавшей себя хозяйкой, раз навсегда установились непростые, порой забавные отношения. Уступая ей во всем, он не упускал возможности оказаться поближе к хозяйской ласкающей руке, ухватить из нее свой кусочек.

— Ишь какой ты шустрячок, ушленький какой! — подивился наш жэковский слесарь Саныч, «доктор Крант», когда кобелек, подпрыгивая, улучил момент и шмыгнул мимо его ног раньше всех из подъезда.

Да, он от рождения был обречен стать Ушликом — как иначе прожить при таком росточке среди больших и сильных? Но, невзирая на свои размеры, Ушлик, как это нередко бывает у маленьких, оказался безрассудно, нагло храбрым. Непрере-

каемым авторитетом у него пользовалась только Умка. Он почтительно обходил спящую Умку и ложился так, чтобы не коснуться, не потревожить ее. При этом он нисколько не стеснялся, если я лежал рядом, пройтись по мне — но только не по Умке. Впрочем, так же поступала и она: спящего Ушлика она могла обойти, если ей это нужно было, по хозяину или хозяйке. Умка ни его, ни кого-либо из других собак не трогала, но почтение к ней у Ушлика было неколебимым. Она была для него самым сильным, самым могущественным существом на свете.

Зато других собак он, как правило, не «уважал». Завидя их, он издали начинал противно ныть и хорохориться, тянуться на «цыпочки», скрести задними лапами землю и вообще старался как можно больше нагнать страху. Первым он в драку не лез, — да, вернее всего, и не хотел ее, — просто демонстрировал презрение и неустрашимость, играл «мускулами», что далеко не всем нравилось и что конечно же провоцировало склоку. А если она зарождалась, не отступал, как бы ни велик был противник. Чувство страха, похоже, было неведомо ему. Только что он мог сделать своими зубками, способными в лучшем случае придавить мышь? Если не вмешаться, в первой же

серьезной драке с кобелем-громилой он испустит свой настырный дух. Я заранее подхватывал его на руки, и тут уж его негодование достигало высшего накала: он выкрикивал в адрес противника самые страшные ругательства, плевался, кашлял и задыхался, трясся от ярости. Я цыкал на него, шлепал — меня он побаивался, зажмуривал глаза и съеживался — и тут же снова захлебывался в приступе злобы. Стоило уйти от противника — и он тут же становился покладистым, ласковым и послушным.

Подлечив Ушлика, мы намеревались кому-нибудь отдать его: держать в одной квартире двух разнополых собак, как бы ни отличались они размерами, все-таки хлопотно. Были желающие взять кобелька, но нам они не «поглянулись». Время шло, наши питомцы жили дружно, мы все больше привыкали к ним обоим. Ушлик в конце концов остался у нас.

Два «У»

Итак, две собаки… Говорят, что собака со временем приобретает черты характера своего хозяина. С этим можно согласиться лишь отчасти, потому что у каждой из них свой нрав и двух

одинаковых собак не бывает. Наши «два У» жили под одной крышей у одних хозяев, но как они отличались между собой! Общей для них, пожалуй, была только любовь к своим хозяевам. Но и она выражалась у них по-разному. Ушлик, казалось, был сосредоточен на этой любви, его мало интересовали посторонние, он никогда не играл с собаками, а когда у него изредка появлялось такое настроение, играл лишь с нами. На прогулке, боясь отстать и потерять нас, он шел рядом так неотступно, что не требовались ни поводок, ни ошейник — мы никогда ими и не пользовались. Если дома кто-нибудь из нас садился на диван, он непременно устраивался рядом, обязательно касаясь ноги, так ему, по-видимому, было спокойнее и надежнее. А Умка росла необыкновенно любопытной и любознательной, до всего ей было дело, и свою привязанность к нам она сочетала с широким кругом своих интересов.

Но не только разных размеров и разных пород — как не похожи одна на другую собаки даже одной породы! До Умки у меня жил черно-пегий Пыж. Он тоже был западносибирской лайкой, но сколь различны были их характеры! Пыж — мудрый, рассудительно-сдержанный, а Умка веселая, беспечно-открытая в выражении своих чувств.

Тяжело переживавший наказание, долго хранивший обиду, самолюбивый Пыж во избежание нахлобучки больше провинности не допускал. Умка же, получив наказание или выговор за какой-нибудь свой проступок, скоро забывала об этом и как ни в чем не бывало, простив обиду, заигрывала с хозяевами. Белая, чистенькая, женственная по облику, Умка обладала типично «женским» темпераментом, была игрива, любила пококетничать с кобелями, не разрешая им, однако, переступать границы игры и безобидного флирта. Она была разборчива в своих симпатиях и знакомствах, избегала собак далеких от нее пород: боксеров, доберманов, немецких овчарок, не говоря о бультерьерах и Стаффордах, — всячески сторонилась их, а когда те совались к ней, по-бабьи ойкала и отскакивала на безопасное расстояние. Собак, которых Умка выделяла своим расположением, она вызывала на игру: припадала на передние лапы, подтыкала носом, закидывала на холку лапу, тормошила, однако расшевелить их удавалось не всегда. Угрюмые по нраву, туповатые мужланы озадаченно косились на резвившуюся лайку, порой делали неуклюжие попытки поддержать игру, а чаще всего, отбежав к дереву, без конца глуповато задирали лапу,

демонстрируя свою принадлежность к мужскому полу. Умке это надоедало, и она разочарованно возвращалась к своим делам.

Биологи считают, что способность животных занять себя игрой говорит об их интеллекте. Умка умела находить на улице странные игрушки. Излюбленными предметами игр были обглоданные, омытые дождями кости и — почему-то! — рваные башмаки и калоши. Она подкидывала их, ловила, оберегала, когда я делал вид, что хочу отнять ее находку. Белая нарядная лаечка, играющая каким-нибудь раздолбанным ботинком, — это выглядело смешно и вызывало улыбки прохожих. Дома кроме теннисного мяча у нее было резиновое кольцо. Вспомнив о нем, она сама снимала его с дверной ручки и надевала мне на ногу, требуя, чтобы я отнимал его. Но любимой игрой были прятки: я должен был спрятаться за деревом или отворенной дверью, а она, будто не зная, где я нахожусь, притворно пугалась, когда я выскакивал из засады, фыркая по-кошачьи, — это приводило ее в восторг, она носилась кругами и нападала на меня.

В городском дворе Умка иногда разыгрывала меня: встанет по другую сторону ограды из прутьев и показывает своим видом, что тут ей

не пролезть — узко. Да и мне кажется — нет, не протиснется, а обходить далеко. Лезу, если это зимой, в снег, ищу, где прутки пошире, показываю: вот здесь! Тогда она демонстративно проходит там, где казалось тесно, насмешливо улыбается: а ты-то поверил, искал лаз!

Были у нее шуточки и поозорнее, от которых отучить не удавалось. Подойдет сзади и ткнет носом в непозволительное место. Человек подхватывается от неожиданности, ойкает, смущенно смеется, а Умке это нравится. Однажды проявленная людская реакция запомнилась ей, и она нет-нет да и отпускала такую «шуточку» — правда, по отношению к знакомым.

Умка обожала гостей. Заметив, что накрывается стол, она задолго до их прихода дежурила у дверей и радовалась им так, что приходилось умерять ее восторги, становившиеся обременительными для наших друзей. Иногда она принимала участие и в застольях, сидя в стороне и наблюдая за гостями. Как-то сама собою у нас родилась еще одна шутка: когда кто-нибудь из гостей отмечал красоту лайки, я делал оговорку:

— Всем хороша собака, только попочка толстовата.

Эта фраза, произнесенная без «нажима», обыч-

ным голосом, вызывала наигранное возмущение Умки, она лаяла и была довольна тем, как реагировали на это расхохотавшиеся гости. Собака, разумеется, не догадывалась о значении слов, но ее возмущение было понятным: упрек был несправедлив, экстерьер у нее был отличным. Она была еще подростком, когда потемнели ее ресницы и веки, и темно-карие глаза в черном обрамлении у белой лайки выглядели очень эффектно. Она действительно была красивой собакой. Классическими для западносибирской лайки были у нее пропорции головы, что не раз отмечалось на выставках экспертами-кинологами, относившимися к этому особенно строго.

Броскую внешность лайки контрастно подчеркивал ее маленький бородатый компаньон, похожий на обезьянку. Парочка выглядела забавно и привлекала внимание посторонних. Встретив нас разок-другой на прогулке, незнакомые люди начинали здороваться и расспрашивать о житье собак. Очень добрая к людям, живая и веселая, остро реагировавшая на окружающее, Умка скрашивала наши городские будни. С ней было интересно.

Но главным в жизни охотничьей собаки остается, конечно, охота. Как Умка будет работать,

оправдаются ли мои надежды?

Ей не было года, когда мы приехали в ставшее для меня родным Заонежье. А для нее здесь все было впервые: дикая, со скалистыми сельгами и мшистыми урочищами северная тайга, непохожая на подмосковный лес, множество следов и запахов таежных обитателей. Но это была ее родная стихия, тут полностью могло проявиться ее призвание, ее родовая страсть. У нее изменилось поведение, она сразу посерьезнела, другим стало выражение глаз, засветившихся ощущением воли и полноты жизни.

Однажды, когда мы уже возвращались домой, она, отстав, принялась кого-то азартно лаять. Я решил, что снова белка, с которыми она познакомилась еще под Москвой, отозвал ее. Она прибежала страшно возбужденная, озабоченная, убедилась, что отзывают попусту, и тут же исчезла. Лай возобновился на прежнем месте. Пришлось вернуться. На толстой наклонной ели, метрах в трех от земли, сидела молодая, темная, с белым носом норка. Ах, жаль, не сезон!.. Пришлось взять лайку на сворку, иначе было не увести ее от такого дразняще близкого и все же недоступного зверя… В тот день ей исполнилось одиннадцать месяцев.

Для «школы» Умке требовался молодой глухарь. При нынешнем количестве дичи в Заонежье это зависело от везения. А нам пока не везло. Умка старательно искала ненужных в это время года белок, лаяла рябцов. Рябчик плохо сидит под лайкой, особенно после листопада, и лаечники такое баловство своих собак обычно пресекают. Поколебавшись, я решил поддержать Умку, если она все делала по «науке»: поднимала рябца, держала его до выстрела, — иначе ей вообще могло быть непонятным, для чего мы ходим в лес с ружьем.

Молодая сучонка, еще подросток, принималась за работу упоенно и страстно. Городское «диванное» воспитание не испортило ее: она была настойчива, хорошо ориентировалась в лесу, не боялась широкого поиска и имела звучный, доносчивый голос. Я, кажется, снова обретал свое охотничье счастье, утерянное со смертью верного Пыжа. Он был похоронен здесь же, в Заонежье, на Диановой горе, самом высоком месте полуострова, откуда открывались, насколько хватало глаз, шишкинские лесные дали, зеркальца затерявшихся в них озер, просторы Онего-моря, со впаянными в его синеву белыми судами, далекий повенецкий берег…

Этого не могла знать моя новая лайка, но я,

казалось, все еще ощущал витавший подле нас дух Пыжа, вспоминал его, глядя на хлопотавшую Умку, сравнивал их работу.

Можно успешно стрелять из перевязанной проволокой берданки, многие из которых обладают сильным боем, но насколько приятнее держать в руках красивое и надежное ружье, всем своим видом подчеркивающее красоту охоты; можно довольствоваться помощью старательно натасканной полукровки, но способна ли она сравниться с красотой породной собаки, унаследовавшей от своих именитых предков изысканное благородство форм и фонтанирующую охотничью страсть?!

Красота всегда радует глаз и возвышает душу. Мы целыми днями бродили в тихом и гулком, просторно засквозившем от потекшей листвы лесу, расцвеченном сентябрьскими утренниками, напитывались наперед его красотой на многие месяцы городского житья. Каменистые сельги, поросшие хрустким мхом и вереском, потаенные озера-ламбушки, неожиданно открывавшиеся в лесу, одинокий нырок[37], распустивший по

[37] Примечания: 37

Нырок — общее название многих пород нырковых уток, достающих корм со дна или добывающих в воде рыбу, — в отличие от «крякв» — «благородных» уток, кормящихся на поверхности воды или в полях.

тихому плесу[38] «усы», качнувшие отражения берегов, клики гусей в поблекшей синеве осеннего неба, жухлые опахала папоротников, далекое постанывание лосей — все это было и раньше. Только теперь со мной был не черный, в симметричных пежинах и четкой маске Пыж, а молодая, безрассудно-азартная белая сучонка, ослепительная в зелени мхов и молодых елочек. Ее далеко было видно в лесу, где нет ничего белого, кроме берез. По-видимому, ее рубашка занимала и дичь, которая довольно плотно сидела у нее на лаю.

…Глухарь взорвался у нее из-под носа и, полого поднимаясь, утянул за сосны. Умка бросилась за ним. Метрах в трехстах раздался ее лай.

Петух, как я успел разглядеть сквозь ветки, показался мне старым. Надо спешить: старики не сидят так крепко, как молодые. Но вот досада: путь преградила речка. Умка лаяла на той стороне. Выше по течению, я знал, через речку есть кладушки.

— Сойдет… Сейчас сойдет!.. — задыхаясь, бежал я на переход. — Не может так долго сидеть на лаю матерый…

Мокрая, не успевшая толком отряхнуться лайка

---

[38] Примечания: 38

Плес — чистое пространство воды, свободное от растительности (тростника, рогоза, куги и др.).

крутилась в еловом подросте. Теперь только не торопиться, задавить расходившееся дыхание, не подшуметь…

Глухарь оказался сеголетним, из ранних. Но все равно я готов был расцеловать мокрую, в налипшем птичьем пуху, пахнущую псиной голову…

Я был доволен своей молодой первопольной лайкой. День ото дня она приобретала охотничий навык, мы с ней «притерлись» друг к другу во время скитаний по лесу.

Осень, проведенная в Заонежье, окончательно поправила и Ушлика. Деревенское приволье, онежский воздух, лесные травы и черника, которую обе собаки приноровились сами скусывать с кустиков, оказались лучше всяких лекарств. Ушлик окреп и почти совсем перестал хромать.

Породистая «клубная» собака требует от хозяина многих хлопот. Эгоистичный взгляд — «мне не медали нужны, а работа» — может в конце концов расстроить кинологическую деятельность и сказаться, в свою очередь, на рабочих качествах породы. Нужна работа, но нужны и выставки, нужны оценки экстерьера, необходимые для подбора родителей будущих щенков. Я никогда не гонялся за количеством медалей, но выводить Умку на выставки было нужно хотя бы ради ее

будущего потомства, и владельцы собак поймут мою затаенную гордость, когда нас постепенно передвигали в начало вереницы лаек, кружив-ших вместе с хозяевами на выставочном ринге, и в результате оценивали «золотом».

Ради укрепления породы следовало позаботиться и о полевых испытаниях, которые, помимо получения диплома, давали возможность повидаться с охотниками-одноклубниками, повспоминать у костра былые охоты, поволноваться за своих испытуемых питомцев. Эти дни — как праздники, разнообразящие течение городских будней.

На испытания по утке привезли крякв с подрезанными крыльями и «хлопуна» — почти взрослую, но еще не лётную птицу. Стали выпускать на осокистое степное болотце собак. Проэкзаменована, отозвана мокрая лайка. Эксперт Александр Сергеевич Блинов, раскрыв тетрадь, углубился в подсчет неумолимых баллов. Затянувшаяся, волнующая владельца собаки пауза.

Я заметил, куда улизнул на притихшем болотце «хлопун». Следующая — Умка. Пускаю ее, подсказываю, где искать. Она мельком обнюхала камыши и… вылезла из воды, принялась разбираться в кочках, направилась совсем в другую

сторону. Может, водяная крыса? Досадно… На зов не идет, занята своим. В глазах болельщиков вижу свою постыдную беспомощность. Упрямая сучонка потянула к соседнему за перемычкой пустому болотцу. Конфуз… Вдруг заходила, зачелночила в кочках — и буквально выдавила из-под кустика «хлопунца». Надо же, куда учесал! Умка прыжками, с шумом и плеском — за ним. У меня отлегло от сердца: нашла-таки, копуха! Но… не стало «хлопунца». Словила его Умка. Никогда не отличалась кровожадностью, а тут сгоряча, в погоне. С уткой в зубах повернула к берегу вплавь — и вдруг выплюнула добычу. Посылаю второй, третий раз — нет, заупрямилась, не выносит! Потеряла интерес к задавленной птице. Или сама обстановка испытаний выбила ее из колеи?

— Как ни мешал хозяин — собака своё сделала! — усмехнулся строгий эксперт. — Поиск — «отлично»! Настойчивость и самостоятельность — «отлично»! А аппортирование — м-да, оставляет желать лучшего. Хозяйская вина: не приучил. «Трёшка»! — подытожил баллы Блинов. — Третья степень. Но с большим запасом. Молодая еще, все впереди.

Есть такие люди — быстро схватывающие, способные, даже талантливые — и не мудрые,

не умеющие рассуждать, взвешивать обстоятельства. Вспоминаю их, глядя на Умку. Очень сообразительная, толковая, с быстрой реакцией, настойчивая в достижении своего, но нет уверенности в ее трезвомыслии, по импульсивности может сделать что-то непредвиденно неразумное. Бурно выражает свои чувства, при встрече радуется так, что чуть с ног не сбивает, по-дамски экзальтированна и переменчива. Может, с возрастом пройдет, остепенится?..

На следующую осень приятель-охотник, живший в Карелии, отвез нас в глухую промысловую избушку. Когда дорога, которую назвать таковой можно было с большой натяжкой, уперлась в болото и корчи, мы оставили «Ниву» и пошли тропой.

Все пять километров пешего хода Ушлик возмущался тем, что Умка и Дымок, лайка Валерия, сразу обнаружили общность интересов, увлеклись совместным поиском и перестали обращать на него внимание. «Гудел», хорохорился он и возле избушки.

Я распаковывал на нарах рюкзаки, когда за стеной на улице раздался визг. Первое, что я ощутил, выскочив наружу, — разлившийся в воздухе запах вспоротой брюшины, запах потрошен-

ного барана. Дымок, схватив нашего кобелька поперек, трепал его на весу, как тряпку. Алла бросилась отбивать, но ее опередила Умка. Она хватанула Дымка за гачи[39], и тот выпустил Ушлика. На окровавленном боку кобелька свисал большой клок шкуры. Просвечивали извивы кишок, но тонкая пленка, державшая их, каким-то чудом уцелела.

— Ну всё, конец вашему Ушлику, — сказал Валерий.

А Ушлик даже в таком состоянии пытался снова ринуться в драку!

Что делать? До ближайшего поселка около шестидесяти километров, тропа, отвратительная лесовозная дорога. Да и кто там может оказать какую-то помощь? Прибегнуть к милосердному выстрелу? На это не хватало духу, не поднималась рука. Ничего другого не оставалось, как попытаться зашить самим. Алла смочила йодом обычные нитки, обожгла иглу. Я держал Ушлика, прижав его к скамье, Алла орудовала иглой. Кобелек верещал, слезы текли из его глаз, шмыгала носом Алла, но выхода не было. Нужно было это пережить.

---

[39] Примечания: 39

Га́чи — охотничье название задней стороны бедер собак.

Наутро Валерий уехал. Мы остались одни. Ушлик отлеживался на нарах. Алла оставалась в избушке присматривать за ним, чтобы не съехала повязка, не разошелся через край заметанный шов.

А Умке требовалась охота: таежную школу надо было продолжать. Мы уходили в лес. Здесь, в глухом безлюдье бывшей зоны строительства Беломорканала, дичи было больше. Неподалеку от нашей избушки хозяйничал медведь-скотинник: я наткнулся на свежие останки задавленного им громадного лося-быка. Гораздо большую опасность для Умки представляло соседство волков. Мне не раз попадались их следы на болотистой тропе. У лайки был широкий поиск, ее звонкий голос мог привлечь хищников, любителей редкой в этих местах собачатины. Я старался быть поближе к Умке, спешил на каждую ее полайку и не скупился на выстрелы. Каждый день мы приходили с какой-нибудь добычей. Возмужавшая, окрепшая, становившаяся опытной охотницей, Умка радовала меня своей работой. И красотой.

Как-то под утро Умка попросилась за дверь. Этой ночью ударил первый настоящий мороз. Над соснами висела огромная, круглая, как бубен, завораживающая жутью своего колдовского

сияния луна. В ее осязаемом, казалось, на ощупь зловещем свете сказочно блистал покрывший траву иней. Но больше всего меня поразила моя лайка: в сиянии луны она была голубой и словно бы фосфоресцировала, светилась сама. Недаром эксперты на выставках, которые обычно записывали белым лайкам «окрас светло-палевый», раздув подшерсток Умки, объявляли: «Вот пример довольно редкого окраса — это чисто-белая лайка». В кого только она уродилась? В ее роду не было полностью белых лаек.

Отдаленность цивилизации, свежее дыхание большого озера, на берегу которого притулилась избушка, стерильность глухомани избавили Ушлика от заражения, рваный бок быстро заживал. Когда мы через две недели возвращались к дороге, где нас поджидал Валерий, большую часть пути Ушлик шел сам. Только, к несчастью, опять пострадала та же задняя лапа. Ушлик не наступал на нее. Он долго потом прихрамывал и берёг ее.

Вернувшись в Заонежье, мы в погожий неохотничий день — день «покоя» — решили прогуляться на Дианову гору, навестить могилу Пыжа. Все было там по-прежнему: густотравные поляны на вершине, надмогильный валун с краткой надписью, умиротворяющий душу простор… Умка

вдруг метнулась под куст на краю придорожной канавы и тут же отскочила, держа на весу переднюю лапу и озадаченно поглядывая на нее. Опять порез на битой бутылке? Сколько раз она уже калечилась на осколках бутылок, густо покрывающих пустыри, «обогативших» культурный археологический слой нашей эпохи…

Но раны не было. Змея? Алла слышала, как в кусту что-то маслянисто прошелестело. Но мы никогда не видели здесь змей… И в десяти шагах от могилы Пыжа… Мистика какая-то…

А поведение лайки менялось на глазах. В местах моих прежних охот водились гадюки, но собаки ни разу от них не страдали, и я не предполагал, что яд гадюки так стремительно действует. Минут через пять Умка впала в полупа-ралитическое состояние, слегла. Надо срочно к врачу! Но машина осталась в деревне, туда четыре километра. Полпути я нес Умку на руках. Она обмякла, голова у нее болталась. Нас нагнал лесовоз, подбросил до дома. Теперь — в город, до него почти сорок километров. По дороге Умке стало получше, но лапа раздулась, как бревно.

Рабочий день шел к концу. Женщина-врач была без халата, у дверей стояли полные хозяйственные сумки.

— Сыворотки у нас нет и никогда не было, — заявила врач. — Нам ее не дают. А была бы — разве стоит тратить ее на непродуктивных животных? Все эти собачки, кошечки — городская забава!

Я опешил. Ветеринарными врачами были мои дед и отец, но я никогда не слышал, что милосердие оказывается из расчета продуктивности того, кто в нем нуждается. Откуда это взялось? Уж не из людских ли больниц и санаториев, где уровень медицинской помощи поставлен у нас в зависимость от табели о рангах, от занимаемых постов? И разве не с помощью лаек государство ежегодно получает валюту от продажи пушнины, если уж говорить о продуктивности?

Не стоит здесь вспоминать резкий разговор с врачом, в результате которого она все же ввела укрепляющее сердце лекарство, обколола марганцем место укуса. (К слову сказать, не нашлось сыворотки и у медиков в больнице, хотя нередко случается, что от гадюк страдают и люди, особенно в пору лесных сборов.)

Дней восемь Умка ковыляла, держа на весу раздувшуюся лапу, потом опухоль спала, и лапа вошла в норму.

Нашей лайке исполнилось два с половиной года, и мы решили, что ей пора стать матерью. Все

необходимые для вязки бумаги, оценки выставок и дипломы испытаний у нее были. Подходящим было и время: она должна была расстаться со щенками в июне, у нее в запасе было более двух месяцев, чтобы обрести форму и набраться сил для осенней охоты. Отец будущего потомства был найден руководителями секции в Подмосковье.

Стоял март с его полуденными капелями, синими тенями на снегу, хрусткими вечерними заморозками. Стемнело, когда мы добрались до места. На краю поселка, среди сосен, разместилась целая колония лаек и гончих, сидевших в вольерах. В вольерном городке пахло зверинцем. Хозяин выпустил своего Вулкана, и он, стосковавшись по свободе и движению, крупный, в сером волчьем наряде, пахнущий псиной, метнулся к Умке. Напуганная его броском, наша городская «диванная» лайка увернулась и ощерила зубы. И Вулкан, получив отпор, кинулся в лес, где зверье уже начинало оставлять следы, — пришло его время.

Больше в этот вечер мы жениха не видели. Воля оказалась дороже любовного знакомства. Пришлось визит повторить. Вернувшийся накануне за полночь Вулкан теперь все внимание отдал гостье. Но в Умке сидел вчерашний испуг,

она отвергала его заигрывания и огрызалась. У себя на городском пустыре она была не прочь пофлиртовать с ухажерами, давно знакомыми по прогулкам, но…

Свободная любовь по сердечному влечению — это удел вольных. Породистые собаки, находящиеся в плену родовой крови, как члены царской фамилии, лишены такой обычной, такой естественной привилегии. Их потомство предопределяется заранее. И мы, хозяева лаек, одна из которых не желала считаться с нашей волей, употребили насилие, вполне обычное при подобных обстоятельствах. Это могут подтвердить расчетливые кинологи, что и было для нас единственным оправданием.

И все-таки мы возвращались с чувством вины перед нашей лаечкой, внутренне пристыженные ее подневольной свадьбой, всем тем, что происходило среди темных сосен на безлюдной тропке, гремевшей ледяными черепками, под высоким звездным небом, наполненным земными запахами талого снега…

Нашу Умку будто подменили. Не стало игривой беспечной сучонки, готовой к шалостям. Она посмирнела, стала ходить степенно, словно прислушиваясь к себе. И мы все более убеждались,

что поездка в подмосковное поселение вольерных собак оказалась небесполезной.

Алла, готовясь к акушерской помощи, запаслась инструкциями, что и как следовало делать при родах. Долго выбирали место для гнезда и определили наконец угол спальни.

На исходе короткой майской ночи Умка затревожилась, разбудила нас. Алла отвела ее в приготовленный угол.

— У нее схватки, — сказала Алла.

Дыша открытой пастью, Умка одичалыми глазами косилась на живот, но вскоре успокоилась и улеглась.

Мы снова проснулись от того, что в углу что-то происходило. Умка покрутилась, легла, опять встала. Косясь назад, сделала едва заметное усилие — и, обернувшись, подобрала что-то, с прихлебом вылакала и принялась вылизывать языком.

— Первый! — словно бы удивилась Алла, подойдя к углу. — Пегий, с белым воротничком!

Всё, что она приготовила — ножницы, бинт, вату, — не потребовалось. Сама Природа будто вошла к нам в спальню вместе с ясным майским утром, властно взяла все в свои руки и распределила обязанности, отведя нам роль сторонних

наблюдателей.

Спустя некоторое время Умкину морду исказила гримаса, и затем она снова звучно залакала, стала вылизывать второго щенка. Сидя в постели, мы смотрели и дивились, как наша лайка ловко и сноровисто делает то, чему ее никто никогда не учил. На наших глазах происходило величайшее из таинств Природы — таинство явления новых жизней. Облизанные матерью, с червячками обкусанных, быстро подсыхающих пуповинок, мокрые щенята уже упирались розовыми, с крошечными коготками ладошками мягких бескостных лапок и тянулись, мурча, искали слепыми мордочками сосцы: они уже хотели есть.

Через два часа их стало четверо: два кобелька и две сучонки. Умка носом подтолкнула их к животу, отвалилась, подставив налившиеся сосцы. Чрезвычайно заинтересованный тем, что творилось в углу, Ушлик смотрел из двери, не решаясь переступить порог. Мельком скользнув по нему взглядом, Умка молча сосборила губу, и Ушлик ретировался.

Умка оказалась очень внимательной, нежной мамашей. Стоило больших трудов отозвать ее на прогулку. С воплями и стенанием, будто навеки расставалась с выводком, она наспех делала во

дворе свои дела и мчалась домой, просилась и скребла дверь. Откуда что взялось! Молодая мать все подчищала за щенками, умело переворачивала их на спину и массировала языком животы. При нашем приближении она ревниво накрывала щенят головой, тревожно и моляще смотрела снизу вверх «русалочьим», с голубым краешком глаза, взглядом. Необыкновенно уютный запах стоял в углу — молочный запах чистого щенячьего гнезда.

В свое время лайчата прозрели, распушились, стали закидывать на спину смешные хвостишки, у них прорезались острые как иголки зубы. Они жадно сосали, мяли когтистыми лапками материнский живот, и мы смазывали раздраженные, покрасневшие сосцы вазелином и маслом. Мать похудела, облезла, но щенки росли жизнерадостными и толстыми, как сурки. Умка все чаще оставляла их, избегала их острых зубов, перестала подбирать их «грешки». И Ушлик получил наконец доступ к семейству. Смешно было видеть его в роли дядьки-наставника, терпеливо сносившего бесцеремонность непоседливых братцев и сестриц, теребивших его бороду и хвост, топтавшихся по нему, когда он разваливался на полу при игре в «поддавки». Для всех нас, деливших простран-

ство квартиры, время с половины мая по конец июня было «месяцем щенят», они полностью владели этим временем. А потом разъехались — в Петербург, в тверские, воронежские края… И к Умке вернулись ее прежние беззаботность и шаловливость.

Когда меня приглашают на встречи с ребятами, чтобы поговорить о природе, о животных, я иногда беру с собой Умку и Ушлика. Это довольно занятный дуэт 2 — «У» — 2: белоснежная, игривая, с эксцентричным дамским характером лайка и маленький, бородатый и усатый, похожий на мартышку песик, которого знатоки таких собак относят к обезьяньим пинчерам. Умка любит детей — ластится к ним, припадает к земле, стараясь стать ниже, и позволяет им делать с собой что угодно. Ушлик, как подобает мужчине, не допускает со стороны чужих никаких фамильярностей, незнакомых людей избегает. Дома он при малейшей тревоге вскидывается, подпрыгивает на передних лапах, поворачивается петушком на спице: «Кто? Где? Откуда? Вот я счас!»

После того как Алла выхаживала его, порванного Дымком, неотлучно сидела с ним в лесной избушке, он особенно привязался к ней. Ушлик — это больше собака хозяйки, а Умка — хозяина.

В Карелии мы чаще всего уходим в лес все вместе: Алла с Ушликом занимаются грибами и ягодами, а мы с Умкой — охотой. Если, не успев отойти далеко от наших грибников, Умка кого-то находит, на ее голос подбывает Ушлик, и нельзя без улыбки смотреть, с каким осознанием важности выполняемой работы вторит лайке наш маленький обезьяний пинчер.

Грибники обычно возвращались домой без нас. Мы с Умкой пропадали в лесу до вечера. Тишину глухих урочищ взрывал далекий лай собаки, отдававшийся звонким эхом. Еще не зная, кого она облаивает, я спешил к ней, и сердце мое заходилось радостью, ожиданием скорой разгадки тайны и встречи с птицей или зверем.

Умкина природная доброта иногда мешала делу. В городе я был доволен, что она, неравнодушная, как все лайки, к кошкам, облаивала, но не трогала их. На охоте такая деликатность была ни к чему. Как-то раз она прихватила свежий след норки, протоптавшей на мшистом берегу болотистой речки извилистые лабиринты ходов. Норка, очевидно, приловчилась брать уток: на большом плоском камне возле речного переката у нее была «столовая», где валялось несколько крыльев крякв и чернети. Умка буквально

выковырнула зверька из-под корня березки, могла его схватить, но не решилась и упустила его, канувшего в расщелине огромных валунов. Сказалось ли городское содержание зверовой собаки или, возможно, ее остановила извергнутая норкой, надолго повисшая в безветрии ужасная, удушающая вонь, омерзительнее которой мне не приходилось встречать?

Зато она без раздумий прихватывала бьющихся в лодке щук, выловленных на спиннинг. Умка сопровождала меня и на рыбалке. Она внимательно следила за тем, куда падала блесна, как я подтягивал ее, просвечивавшую в воде, и нет ли чего на крючке. В любой лодке у нее было излюбленное место — на носу. Узкий нос нашей онежской лодки был обит жестью, сидеть было скользко, и собака, случалось, срывалась с него, но, как ни в чем не бывало, подплывала к борту. Я заталкивал ее в лодку. Обдав меня веером брызг, она снова взбиралась на нос. Ей нравилось быть «впередсмотрящей».

С таким же интересом она наблюдала за ловлей рыбы на удочку. Даже в Москве, когда мы во время прогулки забредали к водоему у Дворца детского творчества на Воробьевых горах, она, завидя рыбака, удившего в этой луже бычков-ро-

танов, устраивалась у него за спиной и ждала, не запляшет ли на воде поплавок.

Я никогда не тяготел к охоте на крупного зверя. Не всегда чистое, с первой пули, убийство большого животного, в котором так много жизненных сил, съемка шкуры, кровавая разделка туши — все это как-то разрушает поэзию тихого уединенного лесования с лайкой. И я опасался, что Умка будет увязываться за лосями, которых в те годы было много в карельских лесах, — вся другая охота пошла бы тогда насмарку.

Знакомство с лосями состоялось в первую же нашу охотничью осень. Мы наткнулись на молодую корову, лежавшую в береговой осоке. Мне видны были лишь ее растопыренные уши, отгонявшие комаров. Боковой ветер относил запах зверя и шорох наших шагов. До лосихи было метра четыре, Умка находилась и того ближе, и мне пришлось шикнуть, чтобы лосиха не ударила в испуге собаку. Корова, выросшая перед нами, шарахнулась, вломилась в тальники. Умка бросилась было за ней, но тут же вернулась, озадаченно поглядывая то на меня, то в сторону удалявшейся коровы. Нет, к лосям она, слава богу, осталась равнодушной.

Не изъявила Умка желания идти и по кабану,

когда мы два года спустя охотились на куниц в воронежских краях. Кабаньи свежие следы, только что покинутые лежки встречались там часто. На подходе к заросшему тальниками и трестой[40] лесному болоту она издалека причуивала «толстый» запах вепря, ерошила загривок, настораживалась, и я знал, что здесь есть или только что были дикие свиньи. Умка внимательно обнюхивала их обмятые в осоке «постели», но преследовать не хотела. Я не настаивал, не притравливал ее к кабану: в компании с другими собаками мы не охотились, а подставлять в одиночку кабаньим клыкам породную рабочую лаечку было бы так же безрассудно, как топить печь дровами красного дерева. Для такой охоты годится орава любых, даже беспородных псов, от которых при встрече с кабаном требуются только смелость, вязкость[41] и злоба к зверю.

Умка работала всё, к чему я проявлял охотничий интерес. Однажды из-под нее вырвался вальдшнеп и потянул через меня по лесной просеке. Несложным выстрелом я достал его. Умка пристально обнюхала незнакомую птицу, по

[40] Примечания: 40
Трестá — тростник.

[41] Примечания: 41
Вя́зкость — настойчивость в преследовании.

своей привычке ткнула, «припечатала» ее носом и стала после этого попутно вытуривать и вальдшнепов. Она это делала, конечно, без стойки, молча, мне не всегда удавалось выстрелить, но то, что у нее появился еще один объект охоты, было несомненно.

В другой раз я подбил вывернувшегося на мочажине бекаса, и Умка, ознакомившись с новой дичью, перестала пропускать и этих куликов. Но бекасиных мест в Заонежье мало, стрелять больше не пришлось, и лайка постепенно к ним охладела.

Совершенно неожиданно для нас обоих у нее вдруг обнаружился интерес к медведю. Это случилось в солнечный, ласковый день карельского бабьего лета, такой тихий, что слышен был шорох опадающей листвы. Я шел горбом сельги, округлой, как спина окаменевшего кита, а Умка работала внизу, сбоку, в гущаре урочища. Я ждал кого угодно — глухаря, тетерева, рябца, вальдшнепа, наконец, — но только не медведя. Под сельгой послышался легкий треск, и на открытую каменную плешину вывалился медведь. Черный как уголь, в золотом свечении осинок и хлипких березок, росших на камне, небольшой, лоснящийся на солнце мишка метрах в двадцати от меня

перевалил галопцем сельгу и скрылся в моховом болоте, густо затянутом талами и багульником. Тут же из сумрака зарослей выскочила на солнце моя белая лайка. С хохлом взъерошившейся на загривке шерсти, она деловито шла по медвежьему следу. Заметила меня, вопросительно вскинула голову: «Кто это? Почему ты не стрелял? Он нам не нужен?»

На медведя я не рассчитывал, но можно ли отказаться от него, если того захотела моя собака? Я заменил дробь в стволах на пули, которые всегда беру с собой на всякий случай, и направился вслед за медведем. Мне было любопытно, как дальше поведет себя моя молодая лайка.

Но нет, Умка в дебри не полезла. Идти туда со мной вместе она была не прочь, но желания опередить и преследовать зверя не проявляла. Ее горячий запал уступил место благоразумию. Мы без толку потоптались в дремучем болоте и снова выбрались на сельгу. Мимолетное увлечение медведем кончилось ничем. Но кто знает, быть может, в компании с более опытной и злобной медвежатницей Умка пошла бы и по этому зверю.

Охота в Заонежье с его разнообразием дичи была для моей лайки хорошей рабочей школой.

Мы избродили полуостров вдоль и поперек.

Забравшись подальше от деревни в глушь, мы где-нибудь на берегу озера садились передохнуть. Я по-братски делил с Умкой прихваченные бутерброды. Перекусив, она иногда, не испрашивая на то моего разрешения, вдруг забиралась ко мне на колени. Меня трогало откровение этой оставшейся щенячьей привычки, лишний раз подтверждавшей женственность ее характера, я мирился с мокрыми штанинами и терпел. Может быть, ей просто было дальше видно с коленей, как на носу лодки, легче ловить налетавшие запахи. Слушая лес, плеск набегавших легких волнишек, лайка щурилась и раздувала ноздри. А потом так же неожиданно спрыгивала легко и звала идти дальше.

Так прошло четыре охотничьи осени. Мы все четверо были в Заонежье счастливы.

Как всегда, собрались ехать туда и на следующий год.

— Ждем, — позвонил мне мой приятель-лесник Миша, в старом, но крепком и просторном доме которого мы обычно жили. — Только езжай не на машине, а поездом: бензина у нас нет. Мурманские отпускники посидят недельку-другую в ожидании горючки, а потом их кто-нибудь на

веревке тянет назад. Так что доехать-то, может, и доедешь, а обратно не выберешься.

Не стало бензина, которого было хоть залейся! Это был очередной вывих перестройки, которая вырвалась из нерешительных рук ее незадачливого «архитектора» и пошла по пути разрушения. Добираться поездом, с двумя собаками и ворохом барахла? Да там еще до деревни около сорока километров…

И мы не поехали. К тому времени мы только что приобрели по случаю избу-развалюху на тверской земле и отправились обживаться к себе в деревню.

Не попали мы в Заонежье ни в последующую осень, ни еще через год. Все так же плохо было с бензином, небезопасной стала и сама дорога. Теперь уж нельзя было, как раньше, стать на ночлег где-нибудь на безлюдном берегу реки или озера, выпустить затомившихся собак, разжечь костерок и переночевать в палатке. Опасность дорожного разбоя заставляла коротать ночь на грязных стоянках под прикрытием дальнобойщиков, перевозивших груз компаниями в две-три машины.

Больше мы с Умкой в Заонежье не бывали.

После развала Советского Союза я не охотился.

Беды, свалившиеся на нашу Родину, не позволяли испытывать ту радость, которая всегда сопровождала меня на охоте. Ощущение душевной несвободы, уныния, непреходящей тоски несовместимо с охотой. Даже волк, попавший в клетку, теряет свой охотничий инстинкт. Сущностью русской охоты всегда была ее духовная основа, чувство душевной раскрепощенности, близости к родной природе и любви к ней, без которой не может быть любви к Отечеству. Именно это всегда отличало настоящего русского охотника. Как писал почти полтора века назад П. М. Мачеварианов, автор «Записок псового охотника Симбирской губернии»: «Привязанность охотника к родине безгранична. С какой любовью смотрит он на свои поля, луга, рощи и вообще окружающую местность…»

Дальше деревни мы теперь не выбирались. Ружье с собой я не брал. Брошенная на произвол судьбы деревня на глазах нищала и спивалась. До охоты ли тут…

Но как это объяснить моей лайке? Мы часто ходили с ней в лес. Еще полная сил и охотничьей страсти, она, как и прежде, исправно трудилась, азартно облаивала зверя и птицу. Она выставляла мне белок, куниц и норок и недоумевала,

должно быть, почему ее работа не сопровождается выстрелом, пока не смирилась и не привыкла к нашей тихой грибной охоте.



И Умке, и Ушлику в деревне было привольно.

На задах: нашего участка — на «запольках», как говорят в Заонежье, — почти сразу начинается лес. Собаки целыми днями были на воздухе, бродили окрест, не удаляясь от дома. В жаркие дни Умка с удовольствием купалась со мной в озере. Задуманное больше ради собак, деревенское летнее житье нравилось и нам. К тому же «подножный корм» представлял собой ощутимое экономическое подспорье. Земля в трудный час всегда выручала человека с лопатой.

Так прошло еще несколько лет. Умка начала стареть — у собак, особенно крупных, это происходит так быстро…

Незаметно для себя мы тоже вошли в пенсионный возраст и тоже начали стареть.

Старость всегда становится уязвимой мишенью для болезней. Какая из них угодит раньше?

У нашей лайки во время очередной пустовки обнаружились кое-какие ненормальности. Мы повезли ее в московскую ветлечебницу. Опытнейшая Антонина Ивановна, лечившая еще Пыжа, сдавила ей живот. Умка дико закричала.

— М-да… — покачала головой Антонина Ивановна. — Опухоль. Большая, созревшая. Обречена собака. Спасти здесь может только тяжелая операция, но в таком возрасте этого делать нельзя.

Наркоза она может не вынести. Только мучить собаку. Может, оставите ее?

Оставить?! Ну нет! Об этом не могло быть и речи. И вообще к такому разговору мы не были готовы.

— А если все-таки полечить? — с неуверенной надеждой спросила Алла.

— Что ж, — так же неуверенно согласилась врач, — давайте попробуем…

Умка скребла когтями, скользила на кафеле, умоляюще тянула за дверь: скорее, скорее отсюда, где делают так больно! И мы принялись лечить. Алла сама делала ей уколы. Всегда очень послушная Умка была послушна и здесь. Заметив приготовления к уколу, она забивалась в угол, но по зову, повинуясь, обреченно подходила, терпеливо переносила укол и глотала обвалянные в сливочном масле таблетки. К нашей радости, ей стало лучше. По совету врача лечение прервали. Только надолго ли?

Но беда не приходит одна. Возможно, от того, что Умке когда-то в ухо попала вода, или по какой-то другой причине, оно стало болеть и мокнуть, распространяя неприятный запах. Пришлось чистить ухо ватным тампоном, промывать перекисью водорода, закапывать ушные капли.

Собака сносила и это. Лишь по тому, как она напрягалась всем телом и покряхтывала, можно было судить, какую боль ей приходилось терпеть.

— Ну, моя девочка, потерпи еще немножко… Я сейчас, потерпи… Девочка моя… — приговаривала Алла.

Такое обращение очень подходило нашей белой лаечке. Только еще более становилось жалко ее. Я вознаграждал ее мужество печеньем. Умка, всегда бравшая из рук угощение крайне деликатно, после мучительной процедуры нервически поспешно, будто стараясь поскорее забыться, хватала лакомство.

Такие процедуры Алла делала каждый день. Женщины, вероятно, более склонны по своей натуре к врачеванию. Меня бы на такое не хватило. Это счастье любого охотника, когда жена любит собаку, заботливо кормит и терпеливо возится с нею.

Были перепробованы всевозможные средства, но всё это только оттянуло по времени потерю слуха. Обладавшая от природы тончайшим слухом, улавливавшим легкое царапанье беличьих коготков на вершине дерева, Умка к концу жизни оглохла полностью.

Однажды ночью нас разбудил шум и грохот. Включили свет. Умка билась на полу, пытаясь встать на ноги, поднималась и снова падала. Я вскочил, помог ей утвердиться на четырех лапах. Перепуганная своей беспомощностью, она растерянно, тяжело дышала, в глазах стоял ужас. Я огладил, успокоил ее, она немножко пришла в себя. Это оказался микроинсульт. Снова лечение, новые лекарства и уколы… Но, благодаря быстрой помощи и послушанию, Умка преодолела и эту напасть, почти полностью восстановилась. Только голову после удара она держала чуточку набок, что придавало ей несколько вопросительно-недоуменное выражение.

Сложное это время в отношениях хозяина со своей собакой — ее глубокая старость. Оно требует от владельца собаки терпения, сострадания и милосердия. Милосердие может выражаться не только в неустанном лечении и постоянной помощи ослабевшей больной собаке — оно может потребовать от хозяина жесткого решения, последнего в жизни собаки, дальнейшее существование которой становится мучением. Одни идут на это очень тяжело, другие без долгих раздумий, желая избавить себя от неудобств, осложняющих быт. Как бы то ни было, нельзя

осуждать такой исход, если жизнь становится собаке в тягость. Человек вправе распорядиться ее судьбой: породные собаки рождаются по его воле, по его воле могут и умереть. Так было и у нас. Умка, готовая, как это определено природой, каждый год приносить щенят, родила их лишь тогда, когда мы того захотели. Но одно дело — вмешиваться в зарождение жизни, другое — определять ее конец…

Умке бывало плохо, у нее обострялись боли. Как-то раз, не находя себе места, она изорвала в клочья свою подстилку, чего с ней никогда не случалось. Чаще всего, как это бывает и у людей, боль приходила по ночам. Мы просыпались от ее топота, она бродила впотьмах по кругу, натыкаясь на мебель, забравшись под стол, не могла найти выход, тычась в ножки стульев. Приходилось зажигать свет, давать ей болеутоляющее, успокаивать ее и препровождать на матрасик. Боль отступала. Умка притихала, засыпали и мы…

Старость и болезни сильно изменяют характер и поведение собаки. Мы убедились, как много значит общение с нею голосом. Собака отлично понимает многие слова, реагирует на интонацию речи, догадываясь о настроении хозяина и его намерениях. Теперь оглохшая Умка лишилась

такой связи с нами, с ней можно было общаться только жестами. Она понимала их, по-прежнему была послушна, но это не могло заменить разговора с нею. Рассчитывая на снисхождение, она стала более бесцеремонной, позволяла себе иногда попрошайничать у стола, крутилась под ногами, а когда ее одергивали, отмахивалась, как это делают и люди: «Что вы от меня хотите? Я же глухая, не понимаю…» Делать замечания было бесполезно, а шлепнуть не поднималась рука. Мы щадили ее старость и слабость, прощали ей все и старались, как могли, облегчить ее состояние. Собака стала беспомощной и теперь целиком зависела от нашей воли.

Соседство старой Умки невольно порождало мысли о том, что ждет нас самих в теперь уж недалеком будущем, как обойдется с нами судьба.

Уход умки

Весной 2000 года пришло время собираться в деревню. Дотянет ли Умка до отъезда, как перенесет дорогу? Оба они, и Умка, и Ушлик, любили машину. Раньше, когда в Москве не было такого сумасшедшего движения, а парковка не составляла труда, я часто пользовался машиной

и непременно брал их с собой. Не тяготясь ожиданием, когда я уходил по делам, они сидели в машине и неохотно покидали ее по возвращении домой.

Свидание со знакомыми деревенскими местами взбодрило Умку. Она бродила по деревеньке, по «запольками», что-то вынюхивала. Деревенские ее любили: она была приветлива к людям, не конфликтовала с местными собаками, была молчалива и не обращала внимания на домашнюю скотину. Широко знали ее и в округе. Даже бесшабашные подвыпившие трактористы сбавляли в деревне скорость, зная, что на пути может оказаться глухая лайка. Бывало так, что трактор-колесник, настойчиво сигналя, тихо шел по дороге, а перед ним, не слыша клаксона, брела наша Умка. Оглянувшись, она не сразу уступала колею, туго соображая, что от нее требуется. Сказывалась, вероятно, ее послеинсультная, склеротически замедленная реакция. Мы старались не доводить до такого и не спускали с нее глаз.

У нее, вероятно, болели и суставы: ложилась она, долго примеряясь, осторожно, и так же поднималась. Ей легче было ходить, чем стоять. Когда она останавливалась, у нее словно бы подгибались ноги, ее пошатывало. Далеко от дома

она не уходила и бродила вокруг усадьбы, набив торную тропу.

Мы заметили, что она стала хуже видеть, особенно в сумерках. У нее исчезло боковое зрение, она перестала реагировать на движение руки в стороне от ее глаз. Несколько раз она падала на крыльце, соступая мимо ступенек, и теперь впотьмах боялась спускаться, ожидая, когда ей посветят фонариком. Глухая да еще слепая — это совсем беда… Свою старческую немощь Умка переносила стойко и молча. Она ни разу не визгнула, когда падала, когда натыкалась в темноте на предметы.

Никогда у меня еще не было такой старой собаки, в которой, несмотря на возраст и болезни, так цепко держалась жизнь. У нее было тренированное сердце рабочей собаки и удивительно жизнелюбивый темперамент. Едва держась на ногах, она по-прежнему заигрывала с кобелями, играла с ними, припадая на передние лапы, наскакивала и носилась кругами. Прервав игру, она замирала, расставив ноги, покачиваясь, — надо было прийти в себя, у нее, вероятно, кружилась голова, все плыло перед глазами. А главное, у нее был хороший аппетит, и ей давали столько, сколько она хотела. Еда поддерживала ее, но все

равно она быстро худела, шерсть не могла скрыть торчащих мослаков на крестце, ее пожирала болезнь, одним из проявлений которой была новая опухоль, появившаяся под хвостом.

И видеть угасание собаки, и писать об этом тяжело. Куда отраднее вспоминать счастливое время прежней охоты. И мне Умка все еще представлялась такой, как в Заонежье, — в просвеченном осенним солнцем тихом лесу, широко разносящем ее страстный лай, веселой, деятельной, полной сил…

Знаю, меня легко упрекнуть в нерешительности и малодушии, не допускавшем вмешательства в судьбу состарившейся больной собаки. Я и сам попрекал себя в этом не раз, когда Умке бывало особенно плохо, и даже подумывал, стоило ли мне вообще заводить собаку при таком к ней отношении, но… Ни я, ни Алла не могли принять такое решение. Нас ободряли всплески жизнерадостности нашей лайки, и мы старались, как и чем только можно, поддержать ее. Пусть всё решит сама Природа…

Одно я знал определенно: как бы то ни было, собака будет похоронена только здесь, на своей земле. В деревне, возле дома. Я дал себе зарок, когда Антонина Ивановна обнаружила у нее

опухоль и предрекла Умке скорый конец. С тех пор прошло два с лишним года. За это время я укрепился в своем затаенном, самому себе данном обещании. Это было нужно не столько Умке, сколько мне самому. После шестнадцати лет пребывания в семье собака, приносившая столько радости, заслуживала право быть поблизости…

Так прошло лето 2000 года, холодное и дождливое. Словно в награду за пережитое ненастье, в канун Рождества Богородицы, 21 сентября, пришла замечательная, редкостная, теплая и тихая, благостная осень. Ей не подходило название «бабье лето», его время прошло, — это была истинная Богородицына Осень, с ласковым солнцем, гулкой тишиной засквозивших лесов, с паутиной на опустевших картофельных грядах, с шумными налётами скворцов на осыпанные ягодой рябины. Такими же были и ночи — бархатисто-мягкими и теплыми, с высоким торжественным небом, усыпанным множеством звезд, празднично излучавших свое великолепие, с тихо уснувшим над землей воздухом, далеко разносившим приглушенные земные звуки.

Не хотелось уезжать от такой благодати. К тому же у нас остались кое-какие мелкие дела, и мы не уехали, как намечали, 30 сентября, отложив

отъезд до следующей субботы.

А между тем я думал, что мне, по-видимому, скоро придется вернуться. Только как это будет? Катастрофически быстро растущая у нашей лайки опухоль может все-таки вынудить обратиться в конце концов в Москве к Антонине Ивановне за последней помощью. На машине сюда я не поеду. Придется везти Умку поездом или электричками с пересадкой в Твери, а здесь поспешать на единственный автобус. Раскрывать заколоченный на долгую зиму дом не стоит, переночую у соседей, чтобы наутро попасть на тот же автобус… Но как бы ни было хлопотно, все равно будет только так.

Поздним вечером второго октября я, как обычно, вывел перед сном прогулять собак. Стояла прекрасная ночь все еще продолжавшейся Богородицыной осени. Сделав свои дела, собаки вернулись. Я жестом показал Умке на открытую калитку, но она, замешкавшись, точно вспомнив что-то, вдруг отвернула и с непривычной для нее резвостью пустилась по дороге в ближнее, отстоящее в километре за озером село. Так уже было однажды ночью. Мне тогда удалось нагнать ее и направить домой, где ее поджидала у калитки Алла. И вот опять, в то же время, по той же доро-

ге… Крикнув Алле, чтобы она встретила Умку, я побежал вдогонку и нагнал ее, смутно белевшую на дороге, уже за деревней. Она послушно повернула, потрусила к дому, и я потерял ее из вида: меня слепил встречный свет крайних домов.

Алла ждала меня возле калитки. Умка не возвращалась. Значит, незаметно для меня она где-то свернула с дороги, обошла стороной. Родилось тяжелое предчувствие, что мы видели нашу лайку в последний раз…

Отправились на поиски. Посвечивая фонариком, сходили в село, на автобусную остановку, где Алла встречала меня с собаками после поездок в Москву, дважды прошли по дороге мимо озера. Сигналили во все стороны фонариком: звать Умку было бесполезно. Слабая собака не могла уйти далеко, она должна была бы заметить нас.

Вернулись домой за полночь. Где еще искать? Может, вернется, когда рассветет? С такой надеждой легли спать. Но я не пролежал и пяти минут. Словно что-то кольнуло меня: надо идти!

Направился по дороге туда, где последний раз видел Умку. И тут я услышал лай. Это был ее голос! Умница, она сама давала о себе знать! Приглушенный лай доносился от озера, мимо которого шла дорога. Между озером и дорогой пролегала

узкая дремучая урёма[42] с густым ольшаником, перевитым хмелем, заросшим крапивой, малиной, жесткими талами. Лай раздавался откуда-то оттуда, из глубины урёмы. Что бы ей пораньше было подать голос, мы ведь дважды проходили мимо. Были в каких-то пятнадцати метрах!

Я помчался на лай. Шум крови в ушах и прерывистое дыхание мешали точно засечь место, откуда он раздавался, но я не останавливался, торопясь оказаться поближе, а там уж уточнить, где она лает. Лай замолкал, возобновлялся снова. Только не молчи, только не молчи!

После перемолчки голос вдруг зазвенел громче и с таким отчаянием, что у меня морозцем схватило спину. Никогда она так не лаяла, с таким рвущим душу отчаянием и безысходностью! Кому предназначался этот лай? Неужели она знала, что я здесь, совсем рядом? Я словно бы ощутил какую-то особую связь, возникшую между мной и собакой…

«Слышишь ли ты, хозяин, как мне плохо?!» — «Слышу, слышу! Сейчас, милая, потерпи, я сейчас…» На бегу всплыло какое-то воспоминание, что-то подобное встречалось мне…

---

[42] Примечания: 42

Урёма — лес и кусты, растущие по берегам водоемов, затопляемые в половодье.

Читал об этом… Ассоциация далекая, отстраненная и все-таки чем-то похожая… Гоголь! Гоголевский «Тарас Бульба». Измученный палачом, мужественно сносивший пытки Остап в упадке духа крикнул с эшафота: «Батько! Где ты? Слышишь ли ты?» — «Слышу!»…

«Слышу, слышу!» — бился во мне крик, но кричать было бесполезно. Лай широко растекался по воде, возносился вверх, я не понимал, откуда он исходит, казалось, он заполнил небо, густо осыпанный звездами космос…

Я был уже близко — и вдруг он оборвался. Наступила полная тишина. Поймать бы хоть какой-то звук, шорох в темной береговой урёме… Нет, все тихо. Только пульсирует в ушах кровь и нудно побрёхивает у коровника собачонка, взбудораженная лаем Умки. Молчит лес, молчит озеро, жидко отразившее одинокий фонарь на дальнем сельском берегу. Кажется, чуть слышно сипят, лучась, бесчисленные звезды…

Я полез наугад в заросли. Лучик ослабевшего фонарика упирался в стволы олынинок, в частокол тальников и сухой крапивы, я оступался в наполненные водой ямы, спотыкался в хламе упавших стволов, продирался сквозь трескучий сушняк… Как занесло сюда мою полуослепшую,

оглохшую собаку, как она пробиралась в этакой ночной чертоломине? И почему так звучно раскатывался по темному озеру ее отчаянный лай? Может быть, потеряв надежду выбраться из путаницы зарослей, Умка ушла в воду? Но это же безрассудно — искать спасения в озере километровой ширины! Но искала ли она спасения? Она не могла не видеть нашего фонаря, когда мы шли мимо и посвечивали в заросли, она знает наш фонарик, я всегда по вечерам, подзывая ее, сигналил светом…

Утром мы тщательно дважды облазили весь берег. Никаких следов.

— Это волк, — твердо предположили знакомые деревенские охотники. — С чего бы ей лезть в воду? Тут возле коровника выброшена туша дохлой коровы, днем ее гложут собаки, а по ночам, бывает, приходит волк. Есть такой старый обнаглевший недостреленный волчина. Услышал лай, бросил тухлятину, кинулся на свежатинку!

Волк действительно наведывался в деревню. Я замечал его следы на дороге, а соседка, полоскавшая в сумерки белье на мостках, видела, как «большая серая собака», появившись откуда-то, схватила молодую деревенскую собачонку так, что ей слышно было, как у той хрястнули кости.

Да и сами мы, выйдя однажды перед сном за калитку, слышали в ночной тишине далекий волчий вой. Но если волк, почему он не тронул дворняжку у коровника: она была куда ближе…

— Волк, — подтвердил и наш приятель Николай Евгеньевич, опытный охотник, биолог-охотовед, школьный учитель. — Она сама накликала себе смерть. Надо слушать сорок, должно же что-то остаться от собаки.

Мы обошли всю округу. Следили с Николаем Евгеньевичем за сороками, прислушивались к клёкоту воронов, но обнаружили только телячью выброшенную шкуру да позеленевший костяк еще одной коровьей туши.

У дверей магазина я повесил объявление, пообещав награду, в школе оповестили вездесущих ребятишек, к поискам подключились наши знакомые и соседи. Умка исчезла, будто растворилась в небесной вышине, откуда доносился ее прощальный лай.

Через день нам предстояло уезжать. Не хотелось покидать деревню в неопределенности, не получив ответа на вопрос, которым мы жили последние дни. Но откладывать отъезд больше было нельзя. Я попросил Николая Евгеньевича похоронить собаку, если она найдется, показал

давно определенное место.

Надо было вытащить из воды и положить в сарай на зимовку лодку. Прежде чем сделать это, я все-таки решил обследовать озеро.

Первое предположение, родившееся в ночь гибели Умки, оказалось верным. Я нашел ее у края тростниковых зарослей, метрах в сорока от берега. Белое пятнышко на тихой воде я заметил издалека…

Кинувшись в воду, чувствуя свой конец, она лаяла, оповещала мир о своем отчаянии, пока не захлебнулась…

Но отчего она бросилась в озеро? Умка отлично плавала и вполне могла бы его переплыть. Может быть, она это сделала нарочно?

Считается, что распорядиться своей жизнью способен только человек. Животным это не дано. Но здесь вот такой случай… Умке, вероятно, невмоготу стало ощущение постоянной боли, наше лечение, каждодневные уколы. И она решила ускорить свой уход…

Пока нагруженная машина прогревалась перед дорогой в Москву, мы снова подошли к холмику свежей земли с незавядшими астрами.

«Я ослушалась… Прости меня, мой хозяин. Но для всех нас так будет лучше. И я сделала для

этого все, что могла...»

